

# Ницше

**Автор:**

Игорь Гарин

Ницше

Игорь Иванович Гарин

Большой научный проект

Книга Игоря Гарина посвящена жизни, личности и творчеству крупнейшего и оригинальнейшего мыслителя XIX века Фридриха Ницше (1844–1900). Самый третируемый в России философ, моралист, филолог, поэт, визионер, харизматик, труды которого стали переломной точкой, вехой, бифуркацией европейской культуры, он не просто первопроходец философии жизни, поставивший человека в центр философствования, но экзистенциально мыслящий модернист, сформулировавший идею «переоценки всех ценностей» – перспективизма, плюрализма, прагматизма, динамичности истины. Ницше стоит у истоков философии XX века, воспринявшей у него основополагающую мысль: истина не есть нечто такое, что нужно найти, а есть нечто такое, что нужно создать. Своей сверхзадачей автор, все книги которого посвящены реставрации разрушенных тоталитаризмом пластов культуры, считает очищение Ницше от множества сквернот, деформаций, злостных фальсификаций, inferнальных обвинений. Среди многих сбывшихся пророчеств трагического гения – Фридриха Ницше – слова, произнесенные его Заратустрой: «И когда вы отречетесь от меня – я вернусь к вам».

Игорь Гарин

Ницше

## Введение

И когда вы отречетесь от меня – я вернусь к вам.

Ф. Ницше

Они берут у меня: но затрагиваю ли я душу их?

Ф. Ницше

Философия – это мир. Великий философ – творец мира. Я не уверен в существовании параллельных физических миров, но виртуальные параллельные миры философий – величайшая из субъективных реальностей. Любое знание парадигмально, исторично, пристрастно. Уникальной особенностью философского знания является одновременное существование всех философских парадигм, историй, страстей. Что осталось от науки эпохи Платона? Прах... А философия Платона продолжает жить, кто-то даже полагает, что вся современная философия – комментарий к ней. Я так не считаю, хотя уверен, что в иерархии мудрости многие современные философии – бабочки-однодневки по сравнению с эйдосами Аристокла. О науке этого не скажешь: захудалая современная физическая идея несопоставима по уровню с аттической наукой.

Философия – это мир. Но мир субъективный, личностный, исповедальный. Нет такой философии, которая бы не завоевала себе прозелитов и неофитов. Нет такой философии, которую бы признали все. Если жизнь – это борьба, то мудрость – ее образ, символ, духовная эмблема. В глазах поклонников и противников Сократа горит такой же огонь, как у его личных друзей и судей. Когда жил Фома Аквинский, а томизм и сегодня живет всех живых. Даже оскандалившиеся Маркс и Энгельс, классовое человеконенавистничество которых стоило миру ста миллионов жертв, продолжают вербовать реакционных подвижников возврата к «чистым истокам», не говоря о расистах, не отрезвленных Аушвицами и Треблинками.

Я давно пришел к выводу, что предрасположенность к определенным мыслительным мирам иррациональна или генетична: нельзя переубедить козла, отучив его от козливости. Сартр останется маоистом даже на высотах

экзистенциализма. Пол Поту не грозит францисканство... Пристрастие к чему-то, вкус, тяга идут от нутра, а не от мозга.

Эпохальные события крадутся по уединеннейшим, скрытнейшим, индивидуальным сознаниям: «явление» Киркегор, «явление» Достоевский, «явление» Ницше, «явление» Кафка важнее для истории, чем, может быть, мировые войны или построение чего-то там в одной отдельно взятой стране. Феллини не случайно говорил, что после Джойса, которого почти никто не читал, дамы иначе носят шляпки. Если правда, что именно культура определяет духовное и материальное состояние народа, то качество нашей жизни определяется тем, что писали наши писатели и наши философы, а не тем, сколько революций и войн у нас произошло. «Событие» Ницше важно не идеями «сверхчеловека» или «толкни падающего», с которыми часто ассоциируется его имя, а с идеей «переоценки ценностей», с «сумерками кумиров» – с отказом от авторитаризма, вечных и незыблемых истин, с непрерывным поиском новых ценностей и бесстрашием исканий. Еще – с философией жизни, у истоков которой он стоял, со всей современной культурологической и философской проблематикой века, которую оплодотворили его идеи.

Никто, как Ницше, не призывал с таким отчаянием к бегству в царство свободы интеллекта, и никто с такой силой не почувствовал, что наступающий век несет с собою нечто новое и ужасное, что старая эпоха отмирает, а в ее предсмертных конвульсиях рождаются тоталитарные режимы XX века национал-социализм в Германии и большевизм в России: «Грядет время, когда будут вести борьбу за господство над землей – ее будут вести во имя фундаментальных философских учений».

Каждая философия имеет свой электорат – людей, что ее выбирают. Каждая философия имеет своих ненавистников. Иногда я думаю, что философия – самое дорогое предприятие: крестовые походы, альбигойские войны, революции, «торжество идей», кровопролитие гражданских смут, оружие Судного дня – разве все это, в конечном счете, не плата «за идею»? Я имею в виду даже не политическую философию, а веру в «правое дело», философское по своей природе.

Нам, большим поклонникам «единственно научной философии», над которой потешался весь цивилизованный мир, почему-то казалось естественным, что все

прежние философии допускали критику, наша же изначально оказалась божественной и карающей: непогрешимая, она вершила суд над всеми остальными. «Критики...» – вот ее чуть ли не главный результат, так сказать, экскрементальное производство...

Отвлечемся от собственной божественности (сверхчеловечности на языке Ницше), спустимся на грешную землю. Джонатан Свифт своими остро- и тупоконечниками, вообще представителями лапутянской науки, осмеял не только узкопартийную «мудрость», но мудрость как таковую. Остро- или тупоконечник – любой философ, мыслитель, ученый, преданный открывшейся ему убогой «правдочке» чуть ли не до костра включительно. Конечно, подвижничество – великое дело, но ретроспектива этого дела обескураживает: где сегодня результаты тех «великих идей», за которые звали умирать эти подвижники две тысячи, тысячу, сто, пятьдесят лет тому назад. Стоило ли ложиться костями за «государство» Платона, «город Солнца» Кампанеллы, фаланстеры Фурье, коммуны Маркса? Стоило ли «давить гадину» Вольтеру, звать «назад к природе» и вперед к революции Жану-Жаку, просвещать пруфроков и иллиджей Гельвецию и Дидро? Стоило ли разрушать старый мир ради Прекрасного нового?

Есть и другие вопросы: почему из «торжества рационализма» вырос самый иррациональный мир, абсурдности которого не видно конца? почему «плоды просвещения» дали в этом мире кисло-горькие дички? почему самые обильные, бескрайние, населенные многими народами страны довели себя до стадии физического вырождения? почему от «светлого будущего» удирали миллионы? почему нашими погостами усеяна вся земля – от Ниццы и Сент-Женевьев-де-Буа до Лос-Анджелеса и Рио?..

Я отвлекся, пепел Клааса стучит в моем сердце, этот стук отвлекает...

Впрочем, вопросы эти не риторичны: их еще никто не ставил, а герой этой книги, проложивший тропу Заратустре, уже дал ответы на них! «Самый передовой» Маркс намечал пути человеку-массе, а «самый реакционный» Ницше рассказал, куда они приведут. Не потому ли – «философ-монстр», «выродок взбесившейся ненависти к познанию», просто «безумец»?

У каждого философа есть свои экстатические фаны и неистовствующие хулители – исключений не бывало. Но даже среди самых оплеванных и возвышенных Ницше – вне конкуренции.

Одни его считают «философом-монстром», «выродком взбесившейся ненависти к познанию» и даже «просто сумасшедшим», якобы необдуманно и безответственно провозгласившим тезис «Бог умер» и выдвинувшим в качестве высшего морального императива лозунг «Нет истины, все позволено», а также неоциником, мрачным сокрушителем основ, возмутителем спокойствия, сторонником рабства, жестоким воителем, певцом зла и духовным отцом фашистской идеологии человеконенавистничества, геноцида и террора.

Другие включают его в состав гениев человечества, называют великим творцом, поэтом-философом, апостолом новой веры, благороднейшим мыслителем, мучеником познания, властителем дум, бесстрашным борцом за освобождение личности и возрождение человечества, непримиримым врагом всяческих предрассудков и заблуждений, догм и стереотипов, ошибок и иллюзий, накопленных в ходе длительного исторического развития европейской цивилизации.

Почему в эпоху «торжества разума» так трудно пробивались к людям «философы неприятных истин»? Почему по сей день Киркегор, Ницше, Фрейд у нас самые оклеветанные гении? Потому, что утопическое сознание или высокий дух – называйте как хотите – прячется от правды жизни в прекраснодушие, самообман, в «великую идеологию», разрушительность которых все еще полностью не осознана. «У нас секса нет», «да здравствует равенство!» – подобными формулами устлана дорога в рай нашей свинской жизни.

Десятилетиями мы держали эти ужасные писанные истины под замком, отдаваясь по-неписаному ужасам, в сравнении с которыми они показались бы разве что невинными приближениями; десятилетиями кому-то думалось, что читать «вот это вот» опасно, словно речь шла о воспитанных мальчишках, которых надо было уберечь от этой смертельно ужаленной и оттого «неприятно» жалящей совести... Опасно? Но не опаснее же самой действительности, которую так разрушительно чувствовал и небывалые вирусы которой впервые привил себе, продемонстрировав на себе их действие, этот человек!

Как многие пророки, Ницше безосновательно считал свою эпоху переломной, граничной: пришло время смены парадигм, осознания человеком собственной ценности, духовной зрелости, свободы и способности распоряжаться самим собой, настала пора осознать неосуществимость идеального мира, достижения безусловных ценностей, необходимо раз и навсегда положить конец самообольщению и самообману.

Философия по природе своей пророческа и артистична, ибо является внутренним голосом философа. В чем-то философия – «спектакль» одного актера, и ее «истинность» – заразительность, зрелищность, эстетичность, эмоциональность восприятия. Ответственный пророческий элемент культуры, выражающий глубинную суть бытия [1 - Безответственный или корыстный пророческий характерен для вождей масс, таких как Ленин, Муссолини, Мао или Гитлер.]. Философия – не просто исповедь, а огненное слово. Даже «нудным философам» свойственны «божьи искры», у Паскаля, Киркегора, Шопенгауэра, Ницше, Гартмана, Ортеги философия превращалась в «поток лавы», в экзальтацию, экстатическое самовоспламенение.

Человек пророческого типа слушает не голос, идущий извне, не голос общества и народа, а исключительно внутренний голос, голос Божий. Но он обращен к судьбе народа, общества, человечества. Пророк одинок, он находится в конфликте с коллективом, религиозным или социальным, он побивается камнями, он считается «врагом народа», но он социален, он говорит слово правды народу, обществу, он прозревает судьбы человечества. Быть может, более всего мы нуждаемся в пробуждении пророческого духа. Это дух свободы и независимости, несогласия ни на какой конформизм и вместе с тем сознание служения сверхличной цели. Представитель духа не согласен определяться обществом и государством, он определяется изнутри.

Философия есть выражение нонконформизма и духовной свободы, в этом ее главный социальный смысл. Если общество ценит человеческую независимость, справедливость и правду о себе, то оно должно ценить любые формы инакомыслия как высшую форму социального богатства.

История философии – это вечное переписывание истории, преследующее цель выявления новых срезов мысли, открытие более глубоких измерений старой мудрости. Моя нынешняя задача – «переписать» Ницше, убрав его браваду,

экстравагантные крайности, радикализм, экстремизм.

Увы, Ницше дал достаточно оснований – не только своим недоброжелателям – уличать «ликующее чудовище» в варварстве и садизме: порой, как расшалившийся ребенок, он переходил грани дозволенного, облакая глубочайшие бессознательные порывы в откровенно садистские формы. Возможно, даже скидка на болезнь этого не объясняет. К тому же философу непозволительно то, что позволительно психологу или врачу. Ницше дал веское основание Томасу Манну вспомнить предвосхищение Новалиса, гения того же склада, что и Ницше:

У нравственного идеала нет соперника более опасного, нежели идеал наивысшей силы или жизненной мощи, который иначе называют еще (очень верно по существу и неверно по выражению мысли) идеалом эстетического величия. Этот идеал был создан варварством, и можно лишь пожалеть, что в наш век одичания культуры он находит немало приверженцев, в первую очередь из числа людей ничтожных и слабых. Идеал этот рисует нам человека в виде некоего полубога-полужверя, и люди слабые не в силах противостоять неодолимому обаянию, какое имеет для них кощунственная дерзость подобного сопоставления.

Да, это верно, но относится ли к Ницше? Если относится, то в какой мере? Действительно ли его идеал полубог-полужверь?

Чувство благоговения перед жизнью странным образом уживалось в нем с резкостью оценок, свидетельствуя о душевной неуравновешенности или даже черствости, выражавшихся в граде насмешек, выплескиваемых на вчерашних кумиров. «Понимать людей другого душевного оклада, чем он, разбираться в них Ницше не мог и не хотел; сострадание и милосердие, вообще сочувствие, он презирал, а потому умел только насмехаться или благоговеть».

Конечно же, Ницше – провокационный писатель. Но модернизм всегда провокация, борьба с современной культурой, вызов ей. Без «безумных идей» невозможно движение вперед – то, что в свое время сознавали лишь одиночки, ныне стало трюизмом. Болезнь была необходимым компонентом творчества экстатического певца страдания. Если бы ее у него не было, он бы ее выдумал – и, мне кажется, если не выдумал, то культивировал, использовал – как «третий

глаз», как «гениальность ноздрей», как мышление телом.

Отказ Ницше от идентификации с собственным телом дает ему «безумное» право на повторные рождения в других телесных ликах и фигурах, в другой, воображаемой анатомии, где телесный опыт более не определяется случайной детерминацией. Ницше мог бы сказать: «Теперь я выбираю тело, а не оно меня». Вот почему Ницше занимает проблема собственного эксцентризма. Очевидно его стремление выработать единую стратегию «безумной» провокации: вновь и вновь ускользать от самого себя, преодолевая свою первую природу, всегда, – не сам, а маска маски. И тогда выздороветь – это суметь надеть безумие его собственным языком, иначе говоря, заставить пройти сквозь символические фильтры, в которых оно утратит свою тираническую энергию. Поэтому все в психической жизни Ницше следует понимать как бы наоборот: выздороветь для него вовсе не означало создать необходимые условия для возрождения личностного центра (по типу картезианской конструкции «я мыслю») как источника и меры здравомыслия...

За абсурдами и несуразностями Ницше, за его эпатажем, позой, фразой, фрондой, игрой, декларациями, несправедливостью, предвзятостью кроется детская чистота, инфантильный вызов, юношеская запальчивость, психологическое изгойство. Вот почему истину Ницше следует искать не в выхваченных из контекста фразах, а в подтексте, символах, движении, процессе мышления. За интеллектуальным фейерверком, шокирующими парадоксами, экстремистскими по форме высказываниями кроется глубоко сокрытое, явно невыраженное существо. Очень опасно увлечься ницшеанскими софизмами, стать «обезьянами Заратустры»:

Ко всем людям, позволившим его, Ницше, философии соблазнить себя и обмануть, он в гневе восклицает:

«Этим нынешним людям я не стану светить – и не светом назовут они меня. Этих – я желаю ослепить: молния моей мудрости! Выжги им глаза!»

На дружеское напутствие это совсем не похоже. Ницше отпускает нас от себя так, словно отказывает нам в себе. Вся тяжесть возлагается на нас. Истинно



лишь то, что исходит из нас самих – при посредстве Ницше.

Ницшевская мысль требует от человека высокой свободы – не пустой свободы, которая ограничивается тем, что отделяется от всего ее стесняющего, а свободы наполненной, выходящей навстречу человеку из его собственной исторической глубины, дарящей ему самого себя непостижимым для него образом.

Склонный к самоанализу, он лучше иных психоаналитиков осознавал собственные мотивы и особенности своего психического склада. «Я – авантюрист духа, – признавался Ницше, – я блуждаю за своею мыслью и иду за манящей меня идеей». Лучше было бы сказать не «блуждаю» или «иду», а «бросаюсь в пропасть» – столь головокружительны были его «эксперименты» с истиной. По словам Томаса Манна, Якоб Буркхардт, отнюдь не филистер, рано подметил в своем протееже эту опасную склонность, необузданное стремление мысли пускаться в опасные виражи на высоте, где так легко сбиться с пути, «зарваться» или разбиться, – «что и побудило Буркхардта благоразумно отдалиться от Ницше и с достаточной долей равнодушия – гётевский способ самозащиты! – наблюдать за его окончательным падением...»

Часто ли можно услышать от трезвомыслящих – демократов, либералов, социалистов и т. п. – признание типа: мое мировоззрение происходит из ненависти? А вот Ницше говорил о себе: «Мой антилиберализм доходит до злости». Это не провокация – это действительно свертрезвая и пронизательная реакция на еще неродившиеся бесчисленные жертвы «тарантулов», этих подвижников «свободы, равенства, братства», способных – после всего ими содеянного – вызвать уже не злость, а злобу, ненависть, самые страшные проклятья.

Благодаря склонности к самоанализу (возможно, даже психоанализу), Ницше оставил «инструкции» будущим герменевтам. Так, в одном из писем, давая совет относительно того, как лучше всего писать о нем – психологе, писателе, имморалисте, – он предостерегал от однозначности, от решительных «да» или «нет».

Совершенно не нужно и даже нежелательно, – пишет он, – чтобы вы принимали сторону моих защитников или моих противников; напротив, смесь некоторой

доли любопытства, какое проявляют при виде незнакомого растения, с иронически-недоверчивой сдержанностью – вот, как мне кажется, та позиция, которая была бы наиболее разумной в отношении меня. – Прошу прощения! Это, конечно, очень наивно – давать благие советы, как следует выпутываться из того, из чего выпутаться невозможно...

Это не предостережение интерпретаторам против самого себя – это трезвая характеристика «невозможного», собственного творчества со всеми его полетами над бездной.

Вызов, брошенный Ницше философии изнутри самой философии, оказался необыкновенно производительным: Ницше принадлежит самый плодотворный принцип любого вида знания – переоценка всех ценностей, то есть критическое переосмысление, развитие, преодоление достигнутого уровня, конкуренция идей, все более углубленный подход, позволяющий выявить новые аспекты, уровни, подходы, трактовки. Парадоксы, курьезы, сбивающий с толку эпатаж, дерзкий нонконформизм – все это оказалось необходимыми формами того философского содержания, которое в полную меру раскрылось в наше время в работах Куна, Полани, Лакатоса, Фейерабенда.

Понять мыслителя – не просто дать интерпретацию его мыслей, но войти в поток его мышления, понять, как он мыслил, «мыслить все то существенное, что мыслилось его мыслью». Понять Ницше – значит, отбросив громкую фразу, пафос, эпатаж, эйфорию, проникнуть в самую суть его мышления, проникнуть в те глубины, где мысль зарождалась, сказать то, что он волил сказать, современным языком.

Можно без преувеличения сказать, что Мартин Хайдеггер заново открыл Ницше, увидел в странных, парадоксальных, филологических текстах «ниспровергателя» метафизики – глубокого наследника метафизики, разглядел ницшевскую мыслительность – процесс созидания мысли в связи с личностью мыслителя, увязал основополагающие понятия философии Ницше («нигилизм», «переоценка всех прежних ценностей», «воля к могуществу», «вечное возвращение того же самого», «сверхчеловек») в единое целое, обнаружил их глубочайшую внутреннюю взаимосвязь и взаимонеобходимость, выяснил скрывающиеся за парадоксами и двусмысленностями Ницше продуманность и естественность и, если хотите, пред-посланность (судьбу), укорененность идей Ницше в самой истории идей.

Здесь под пред-посланностью я понимаю и эволюционную необходимость, и судьбоносность, и возрастающую напряженность, и неизбежность свершения (смысл, вкладываемый в это понятие Хайдеггером).

Как всякий пишущий человек, Фридрих Ницше хотел быть понятым современниками, но никогда не ориентировался на их вкусы. Подобно другим гениальным интровертам, он не писал для читателей, а просто хотел выговориться: не распространить свои убеждения, не просветить ближних, не научить, а излить собственное «я». Такова, впрочем, цель всех «несвоевременных мыслителей». Читатель был необходим ему лишь как свидетель. Лев Шестов не без оснований назвал философию Ницше философией трагедии, и это очень многоплановое определение. Читатели – соучастники «случая Ницше», свидетели трагедии духа, страстного, безответного монолога страдающего и отверженного мыслителя.

Ницше писал книги не для того, чтобы учить, но для того, чтобы учиться. Эту цель пишущего я глубоко познал на самом себе и вполне мог бы повторить о себе максимум Одинокого мыслителя, каковым, в сущности, являюсь: «Вовсе не легко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими».

Как у Паскаля или Киркегора, философия Ницше неотрывна от его душевной жизни и имеет глубоко личный характер, делающий его тексты своеобразным духовным автопортретом. Это – глубоко исповедальная мудрость, перерабатывающая события жизни в интуиции духа, «невольная и бессознательная автобиография философа».

Переоценка ценностей, о которой Ницше так много писал, была не чем иным, как состоянием его индивидуального сознания. Знакомство с сочинениями Ницше есть лучший способ знакомства с его индивидуальностью. «Кто есть личность, – писал он, – имеет по необходимости философию своей личности».

Философия Ницше – это раскрытие внутреннего мира Ницше. По словам Лу Саломе, подобно тому, как отвлеченные систематики обобщали свои собственные понятия в законы мироздания, так Ницше отождествлял свою душу с мировой душой.

Характеризуя особенности духовного склада своего друга, Лу Саломе обратила внимание на качества, присущие, и филологу, и философу:

Это была, во-первых, его гениальность в обращении с тончайшими оттенками мыслей и чувств, требующими чрезвычайно нежной и вместе с тем твердой руки, чтобы не быть стертыми или искаженными. Это то же самое, по моему мнению, что впоследствии делало его скорее очень тонким, чем великим психологом или, вернее, великим в схватывании и отражении тонкостей. Характерно в этом отношении выражение, которое он однажды употребляет, говоря о предметах, как они представляются взору познающего: он называет их «филигранью внешних предметов».

В связи с этой чертой стоит влечение к исследованию скрытого и тайного, стремление вывести на свет затаенное – умение видеть во мраке, и инстинктивный дар дополнять интуицией, чутьем пробелы, недоступные знанию. Значительная часть гениальности Ницше в этом именно и заключается. Это тесно связано с его высоким художественным даром, в котором понимание тонкого и обособленного каким-то таинственным образом расширяется в большое, свободное понимание отношений целого, общей картины.

Там, где систематики искали незыблемость, Дон Жуана познания интересовала подвижность. Решения тяготили его, он предпочитал вопрошания. Он примерял все идеи, пока не понял, что важны не идеи, а их перемена, перемена идейного строя. Даже увлекшись идеей, он не разделял ее полностью, не страшился противоречить самому себе, не желал «окончательных решений».

...То слово, которое, казалось бы, должно выразить полное удовлетворение достигнувшей своей цели мысли, обозначало для него трагедию его жизни. Он не хотел, чтобы волновавшие его проблемы духа когда-либо перестали касаться его, он хотел, чтобы они продолжали потрясать его до глубины души, и поэтому он до некоторой степени не рад был решению, отнимавшему у него самую проблему: он набрасывался каждый раз на решение со всей тонкостью и преувеличенной утонченностью своего скептицизма и со злорадством заставлял его, радуясь собственным страданиям и вреду, наносимому самому себе, – возвратит ему его проблемы.

Именно поэтому невозможно изложить философию Ницше, нельзя сделать то, что не позволял себе он сам, ибо домыслы приведут лишь к тому, что свои интерпретации выдадут за его мысли. Все эти интерпретации, а их великое множество, на самом деле – произвольные выдергивания и систематизация кусков из всего корпуса сочинений Ницше. Интерпретации эти, разумеется, не бесполезны; одни внешне убедительны, другие – не слишком, но все они неполны и односторонни, все они рискуют оказаться ошибочными и несостоятельными. Поэтому лучшее, что можно сделать, – это не увлекаться блестящими фразами, бросающимися в глаза, а постараться очертить главные координаты мысли Ницше, не забывая при этом, что они выступают независимо друг от друга, а попытки втиснуть их в жесткий корсет вроде «философии жизни», «волюнтаризма», «иррационализма» заведомо обречены на провал, что и надо честно признать заранее.

Ницше считал, что философ не должен устанавливать новые верования, его задача – создавать основы новой жизни, то есть открывать новые перспективы духа, возвращать права мифу, искусству, свободе выражения, поиску в неизведанных местах. Метафизика должна быть человеческой. Верховная задача философа будущего – стать «верховным судьей художественной культуры и вместе с тем ее охранителем от всякого рода излишеств».

Философы-рационалисты упорядочивали мир, приводили хаос к системе, Ницше сознательно и декларативно оставлял всё как есть, возводя отсутствие системы в принцип мироустройства:

Те мыслители, по мнению которых все звезды движутся по круговым путям, не принадлежат к числу глубочайших мыслителей; кто заглядывает в себя как в бесконечно громадное мировое пространство и носит в себе млечный путь, тот знает, как непланомерны все эти млечные пути; они ведут к хаосу и лабиринту бытия.

Конечно же, Ницше – пророческий, а не концептуальный философ, стремящийся высказаться, а не доказать, созерцать, а не систематизировать, отдаться хаосу, а не какому-либо ритму мысли. При всей разрушительности некоторых его идей-интуиций мы не обнаружим у него той глубоко скрытой некрофилии, которая находится «на дне» мышления людей порядка и системы.

Эрих Фромм давно обратил внимание на склонность патологических некрофилов к «сверхпорядку». Хаос Ницше – свидетельство его принадлежности к иной группе психологических типов, скрывающих внутреннюю мягкость за маской внешней агрессивности.

Эпатаж – только маска, грубая раковина, скрывающая жемчужину, юродство блаженного и святого.

Я не разделяю вересаевскую оценку личности и творчества Ницше как столкновение и борьбу взаимоисключающих – дионисийского и аполлоновского – начал. Во-первых, мне вообще претит подмена мультиверсума дихотомией, диалектикой. Во-вторых, в Ницше не было темного, дикого, разрушительного начала – только детские потрясения, только болезнь, только экстатический стиль. Творчество Ницше – феномен эстетический, а не научный, поэтому и воспринимать его следует как грандиозную мифологию, насыщенную символами, метафорами, синкретическими образами и идеями (именно так воспринимали его Л. Шестов и К. Ясперс). Корпус идей Ницше требует не систематизации, а максимально плюральной интерпретации. Главная ошибка большинства исследователей Ницше – выискивание противоречий вместо констатации мифологем. Если хотите, Ницше всех периодов творчества – один из самых последовательных мыслителей, никогда не изменяющий «мученичеству познания». В этом отношении я абсолютно солидарен с призывом К. А. Свасьяна «раз и навсегда избавиться от вульгарного псевдо-Ницше, как от интеллектуального комикса, состряпанного псевдоправедниками всех стран».

Выявление полисемантической, многослойности идей Ницше, ощущение их личностной ориентированности, избавление от вульгарного перенесения его символики на социальную реальность, отказ от попыток встроить движение его мысли в привычный ряд философских штампов, вписывание его жизни и творчества в широкий культурно-исторический контекст – вот что характерно для немногих работ, открывающих новый этап в исследовании Ницше.

Важнейшая особенность стиля мышления «ловца душ» – сочетание эстетического подхода с ценностными суждениями о жизни, моральной вовлеченности со свободой и открытостью поиска.

Ницше эстетизировал мудрость, максимально приблизив философствование к художественности. «Мы, философы, – писал он Георгу Брандесу, – ни за что так не благодарны, как если нас смешивают с художниками». Говоря о себе: «...Я остаюсь поэтом до предела этого понятия», – он имел в виду не свою лирику, а характер мышления. Проза лишь тогда хороша, когда «вплотную подходит к поэзии, хотя и не превращается в нее».

Т. Манн:

Его книги не только сами по себе произведения искусства – они требуют искусства и от читателя, ибо читать Ницше – «это своего рода искусство, где совершенно недопустима прямолинейность и грубость и где, напротив, необходима максимальная гибкость ума, чутье иронии, неторопливость. Тот, кто воспринимает Ницше буквально, «взаправду», кто ему верит, тому лучше его не читать. С Ницше дело обстоит точно так же, как с Сенекой, о котором он как-то сказал, что его следует слушать, но что не должно «ни доверять ему, ни полагаться на него».

Как у Паскаля или Киркегора, философствование здесь не отделено от поэзии, музыки, религии. По словам Лу Саломе, в нем жили, среди постоянных смут, рядом, тираня друг друга, музыкант с высоким дарованием, свободный мыслитель, религиозный гений и поэт по природе.

Ницше не скрывал своей неспособности к силлогизмам. В одном из писем к Паулю Рэ есть такое признание: «Я все более изумляюсь, до чего сильна логическая сторона ваших рассуждений. Да, я на это не способен; я в лучшем случае умею вздыхать и петь – но доказывать, как светлеет сознание, это можете только вы, – а это самое существенное».

Как правило, он не обосновывал своих идей. По словам Л. Шестова, его познание вытекало из его внутреннего опыта. Ницше считал, что своей философией обязан болезни: «Только великая боль... заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины...»

Хотя в молодости Ницше декларировал цель «посмотреть на науку с точки зрения художника, а на искусство с точки зрения жизни», его явно влекли

искусство, эстетика, красота жизни, сама жизнь. С первых произведений мы обнаруживаем прежде всего философа жизни, своим творчеством утверждающего союз жизни и философии, раскрывающего в философии глубокую значимость и ценность жизни. Оздоровление философии грядет через ее жизненность, оздоровление жизни грядет через философию жизни. В жизни философия должна обрести свою плоть, а жизнь в философии – свой дух.

Я не думаю, что в философии Ницше нет ничего «кроме искусства», – это глубокая философия, но и искусства в ней предостаточно.

Последний ученик Диониса, может быть, впервые осознал личный, персональный характер философии, ее неотрывность от субъекта, творца: «...Я понял, чем до сих пор была всякая великая философия: исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами». Понял он и то, что в стремлении завербовать инсургентов, каждый пишет прежде всего для себя самого: *Mihi ipsi scripsi!*[2 - Я писал сам для себя! (Латин.)].

Для того, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти очень знаменательны: они указывают на замкнутость его мышления, заключенного в живую, многообразную оболочку. Из них видно, что, в сущности, Ницше только для себя и думал, и писал, потому что он только самого себя описывал, превращая свое внутреннее «я» в отвлеченные мысли.

Он глубоко осознавал собственную несвоевременность – безродность, по его выражению, – и обращал все свои книги и их сокровенную мудрость к «детям будущего»: «Мы, дети будущего, как можем мы прижиться в этом дне сегодняшнем!», «Мы отказались от всех идеалов, с которыми кто-нибудь, наверное, мог бы чувствовать себя вполне уютно в этот смутный, мутный, переходной период...» Эту свою боль, безродность, неукорененность в настоящем Ницше осознавал как дар, как богатство, как спасительное прорастание нового, европейского духа.

Ницшеанство – яркое свидетельство суггестивности философии, воздействующей не столько на сознание, сколько на бессознательное неопитов, весь строй их души. Помимо идей, философия включает тот «трепет божественного», на который отзывается нутро человека. Подтекст, фигуры умолчаний, приемы сигетики, оркестровка мысли, идеологемы, мифологемы,



«пробуждение зверя» – к чему только не прибегают философы, дабы «повести за собой». Главное действие философии происходит в тишине, «приходит на голубиных лапках» – влияние мудрости гипнотично. Ницше прекрасно владел техникой «поимки души», даже его оппоненты нередко поддавались его влиянию.

Притягательность Ницше, которая, кстати, возрастает со временем, обусловлена его харизматическим даром «заражения», передачи мощного энергетического импульса, обучения нонконформизму, духовному риску, поиску в неизведанных местах, творению нетривиальных ценностей.

Пожалуй, одна из наиболее существенных причин притягательности Ницше для современного человека – это его способность ввести читателя в мир мятущегося, ищущего, рефлексизирующего духа, наделенного обостренным нравственным чувством и одновременно стремящегося разрушить ставшие тесными рамки традиционной системы ценностей. Постоянные дух обновления, тотальный скептицизм, часто трагичное восприятие жизни – доминанты духовной жизни нашей эпохи... Духовный риск, наличие постоянной внутренней оппозиции, способность отказаться от выношенных, но уже «изношенных» убеждений – вот что представляло основную опасность для апологетов традиционной «охранительной» идеологии.

Ницше – изысканный стилист, перелагающий в афоризмы внутреннюю жизнь человека, превращающий тончайшие движения души в чеканную простоту-красоту слов. Он – лирик, соединивший «Фауста» с «Ведантой», германскую культуру с мистикой Востока, сверхчеловека с отшельником.

Есть личность Ницше. Есть учение Ницше о личности. Оно вытекает из его личности; оно – не теория. Наконец, возникнут вопросы о том, чем было для Ницше его учение: провозглашением истины или средством оттолкнуться от ветхого образа современности? Как пользовался Ницше этим средством? Для себя ли пользовался или для «своего»? «Разве я для себя хочу счастья?» – восклицает он.

Всё для него – мост и стремление к дальнему. Он приглашает любить страну наших детей; он запрещает смотреть туда, «откуда» мы идем; наша честь в том, чтобы поняли мы, «куда» приближаемся в детях. Но чтобы знать, «куда» идешь, нужно развить в себе свое будущее, т. е. «иметь» его: иметь образ «нового» человека, «новое имя» на камне души. Здесь Ницше – апокалиптик.

Личность, понятая в грубо физиологическом смысле, вовсе не цель развития. Такая личность протянута в род, в законы рода, в то, «откуда» мы идем. Ее автономия есть власть рода: не свобода, а порабощение. Заметьте: до сих пор Ницше своеобразно идет вместе с Кантом; но там, где чисто теоретически утверждает Кант свой практический разум, там практически, как природу, утверждает Ницше свою свободу. «Теория» для него – способ рассмотреть в себе то, что требуется отсечь. Оба способа помогают ему заговорить с современниками, чтобы призвать к их будущему, если будущее это у них есть.

Можно видеть в наследии Ницше развалины непостроенного храма, главный замысел которого вряд ли существовал, но, мне кажется, при отсутствии системы, генерального плана, строгого архитектурного порядка философия Ницше представляет собой мир, грандиозный миф, космическую мистерию, построить которые призваны исследователи Ницше подобно археологам, воссоздающим цельную картину по разрозненным фрагментам-черепкам.

К. Ясперс:

Ницше – это мир. Нужно знать обстоятельства его жизни, его друзей, его ландшафты, все, что окружало его и превращалось для него в миф, то целое, из которого вырастают его видения и его мысли. Мы увидим тут сцены, исполненные глубины и величия, однако не без некоторой оперной декоративности – здесь много вагнеровского, много характерного для своего времени, облакающего Ницше, как дурно сидящее платье.

Безумие в известной мере спасло Ницше от «окончателности», от «договаривания до конца». Все его книги незавершены, философское завещание не написано. Болезнь, поразившая его в тридцатилетнем возрасте, лишила Ницше возможности систематического продумывания собственных идей, дошедших до нас в состоянии *in statu nascendi*. Он сам прекрасно сознавал это,

признаваясь, что так и не пошел дальше попыток и дерзаний, обещаний и всевозможных прелюдий. В этом, может быть, главная прелесть Ницше – «магическое обаяние изначальности». «Причесанный», систематизированный Мифотворец был бы противоестественным: болезнь была не наказанием, а «даром Божиим» – благодаря ей тексты Ницше и сегодня «парят», дышат, вибрируют.

Но скрыто в них гораздо больше, чем кажется: кто даст себе труд вникнуть в них основательно, увидит, что за пестротой отрывочных записей стоит отнюдь не бессвязное и не случайное содержание. Все они связаны одним общим смыслом, одной мыслью, которую ни одна из них в отдельности не передает целиком.

## Жизнь

### «Молодой лев»

Пожалейте этого необыкновенного человека, пожалейте его за то, что он жил в такое жалкое время, что всю жизнь ему непрестанно пришлось вести полемику.

И. В. Гёте (о Лессинге)

Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем.

Ф. Ницше

Самый трагический философ XIX века, богоборец и богоискатель, появился на свет в семье протестантских пасторов, корни которой уходят в германские земли, лежащие на границе Пруссии и Саксонии. Семейная легенда, согласно которой предки Ницше были польскими шляхтичами (один из них, граф Ницкий, якобы способствовал избранию саксонского курфюрста Августа Сильного польским королем в 1697 г.), по-видимому, не имеет под собой оснований. Имя графа Ницкого не обнаружено ни в одном справочнике польских дворянских

родов, а, с другой стороны, достоверно установлено, что предки Ницше уже с 1570 года обитали в окрестностях старинного немецкого городка Наумбурга.

Карл Людвиг Ницше, отец философа, после окончания теологического факультета университета в Галле стал воспитателем трех принцесс альтенбургского герцогского двора. Ему покровительствовал король Пруссии Фридрих Вильгельм, что открывало возможности для блестящей карьеры.

Однако, по причине слабого здоровья, молодой духовник выпросил себе деревенский приход в деревне Рёккен близ Люцена. В возрасте 30 лет Карл Людвиг женился на дочери коллеги, 17-летней Франциске Ёлер, и ровно через год, 15 октября 1844 года, в семье появился первенец, названный в честь прусского короля Фридрихом Вильгельмом. «О, октябрь, благословенный месяц, – записал счастливый отец в церковной книге, – ты всегда приносишь мне радости (10 октября отец праздновал свой день рождения и первую годовщину женитьбы), но из всех твоих подарков – это самый проникновенный и чудесный...»

В 1846 году у Фридриха появилась сестра Элизабет, а спустя два года брат Йозеф. Больше всех отец любил первенца, став его первым учителем и приобщив к музыке. Пастор прекрасно играл на фортепиано, передав этот дар старшему сыну. Вдвоем они совершали долгие прогулки по окрестностям деревни, и, возможно, страсть сына к путешествиям зародилась как раз в дни раннего детства.

В 1848 году в семью Ницше пришло горе. Существует несколько версий смерти отца – в том числе потрясение, вызванное революцией. Наиболее вероятно, Карл Людвиг упал с лестницы, ударился головой и спустя год, прошедший в ужасных страданиях, умер от размягчения мозга в результате травмы. Смерть отца потрясла Фридриха. До конца жизни он верил в безумие отца и в наследственность этой психической хвори. Может быть, отец действительно страдал мозговой болезнью и травма лишь ускорила трагическую развязку...

Визионерство Фридриха Ницше проявилось очень рано. Возможно, толчком послужила смерть любимого отца, связанные с нею возбуждение и тревога. В одну из тревожных ночей ему привиделся сон, предвещавший новую катастрофу:

Я услышал во сне погребальные звуки органа, печально раздающиеся под сводами церкви. Пока я пытался понять, откуда они исходят, одна из могил вздыбилась и из нее вышел закутанный в саван отец. Он поспешил в церковь и вскоре вернулся, неся в своих объятьях ребенка. Вновь открылась могила, отец спустился в нее, могильный камень закрылся за ним. Тотчас смолкли мощные звуки органа и... я проснулся. Утром я рассказал сон любимой маме. Вскоре заболел мой маленький брат Йозеф, у него начались судороги, он умер через несколько часов. Горе наше было ужасно. Мой сон сбылся полностью, маленький труп опустили в объятия отца. После этого двойного несчастья один Господь Бог остался нашим утешителем...

Вскоре после смерти Йозефа мать с Фридрихом и Элизабет переселилась поближе к родителям, в находящийся неподалеку городок Наумбург на Заале. Здесь прошло детство Фридриха, сюда, уже взрослый, он постоянно возвращался из своих бесконечных странствий – повидать близких.

Основанный Гогенцоллернами Наумбург был знаменит разве что величественным готическим собором, донине украшающим город и наполняющим его мощным звоном колоколов в праздничные дни. Жизнь маленького городка, населенного бюргерами, военными, чиновниками, духовенством, в дни детства Фридриха текла медленно и размеренно.

Немногими развлечениями юного Фридриха стали военные парады, кафедральные службы с органом и хоровым пением, праздничные церемонии. Он с нетерпением ожидал Рождество, а перед ним – день рождения.

День моего рождения является также днем рождения нашего горячо любимого короля, в этот день я просыпаюсь под звуки военной музыки. Я получаю подарки; эта церемония не занимает много времени, затем мы все идем в церковь. Хотя проповедь меня не касается, я выбираю из нее лучшие места и отношу их к себе... Затем для меня наступает лучшая минута: мои товарищи приходят ко мне, и мы веселимся весь остаток дня.

В возрасте шести лет Фридриха отдали в народную школу. Замкнутый, неразговорчивый, он держался отчужденно. Природное благородство, рассудительность, неизменная вежливость вызывали постоянные насмешки над

«маленьким пастором», как его вскоре окрестили одноклассники. Больше всего их забавляла недетская серьезность и глубокое чувство, с которым ребенок декламировал перед классом отрывки из Библии, псалмы и духовные гимны.

В детстве Фридрих мечтал, следуя примеру отца, стать пастором, проповедовать людям от имени Бога. Судя по всему, у него были все данные для этого: совестливость, самообладание, честность. Свидетельства тому – афоризмы ребенка, обращенные к сестре: «Когда умеешь владеть собой, то начинаешь владеть всем миром»; «Граф Ницкий не должен лгать» и т. п.

Учился Фридрих хорошо, но музыка увлекала его больше науки. Он быстро научился импровизировать на рояле и часто, сопровождая себя, распевал псалмы, удивительно напоминая матери отца, игравшего на органе рёккенской церкви. Уже в детские годы музыкальными кумирами будущего философа стали Гендель, Бах, Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуберт и Мендельсон. Современную музыку он тогда не признавал. Со свойственным ему максимализмом называл музыкально нечувствительных людей «бездуховными тварями, подобными животным».

Одаренный ребенок рано познал творческий инстинкт. Он начал сочинять мелодии, музыкальные экспромты, фантазии, мазурки, которые посвящал «польским предкам», рано начал писать стихи – ближайшие родственники нередко получали ко дню рождения поэму, самим поэтом переложенную на музыку.

Почти все биографы пишут о «пай-мальчике», «примерном благонаравии» «маленького пастора», благовоспитанности и дисциплине. Есть даже анекдот о том, как застигнутый проливным дождем Фридрих, с высоко поднятой головой и чувством высокого достоинства, в гордом одиночестве продолжил свой путь домой, не желая «отступить от школьных правил, требовавших от учеников пристойного поведения на улице». Если этот случай достоверный, то его интерпретация несовместима с обликом знакомого нам Ницше, который так и должен был сделать, но не из тупого следования «правилам», а как раз вопреки им – из чувства нонконформизма. Конечно, далеко не в каждом ребенке в нежном возрасте можно разглядеть «сокрушителя», но сусальные картинки «маленького пастора» (Ницше-ребенка) кажутся мне неправдоподобными потому, что тексты юного Ницше, начавшего писать очень рано, полностью расходятся с ними.

В десятилетнем возрасте Фридрих уже сочиняет дидактические трактаты и дарит их соученикам, пишет драмы на античные темы для постановки в «Театре искусств», основанном с двумя сотоварищами. Сохранились их названия: «Боги Олимпа» и «Оркадал».

Одаренность Фридриха Ницше проявилась очень рано, его превосходство над одноклассниками отмечалось всеми учителями, которые посоветовали матери не терять время на гимназию, а отдать сына в высшее учебное заведение. Мать колебалась – для этого нужно было расстаться с сыном. Фридриху тоже не хотелось уезжать из родного дома.

Лето 1858-го Фридрих и Элизабет провели в доме родителей матери. Это было радостное и тревожное время: школа позади, впереди – новая неизвестная жизнь вдали от родного дома, сердечных привязанностей и детских радостей и огорчений. Здесь, в деревеньке Поблес на берегу Заалы, он, опьяненный юностью, лирическим чувством и неизвестностью пред будущим, создает первый большой труд – историю собственного детства:

Я писал с величайшим наслаждением и ни одной минуты не чувствовал себя утомленным. Как хорошо, когда перед глазами вновь проходят годы собственной жизни и удается проследить в них развитие собственной души. Я рассказал всю правду, искренне, не поэтизируя, безо всяких литературных отступлений. Я мог бы исписать подобным образом еще не одну тетрадь!

Жизнь – зеркало.

Узнать в нем себя —

Вот главная цель.

Стремись к этому! [3 - Стихи Ф. Ницше представлены в переводах К. Свасьяна, Я. Голосовкера, В. Рынкевича, Ю. Антоновского, В. Зоргенфрея, В. Топоровой, С. Степановой и др.]

Осенью 1858-го Франциска Ницше получила от ректора земельной школы-интерната «Шульпфорте» письмо с предложением предоставить место ее одаренному сыну. Предложение было лестным, ибо школа Пфорта в ту пору являлась одним из престижнейших учебных заведений Германии. Основанная

цистерцианскими монахами чуть ли не в XII веке, она стала настоящим питомником немецкой культуры, отсюда вышли братья Шлегели, Новалис, Клопшток, Фихте, Ранке, Лампрехт, один из последних канцлеров империи фон Бетман-Гольвег. Конечно же, юному вундеркинду хотелось окунуться в атмосферу, питающую немецкий гений, и в возрасте 14 лет он покинул семью, чтобы влиться в монастырское братство.

В Пфорте юноша познал на собственном опыте монастырское воспитание, целью которого было «подготовление к религиозной жизни» и изучение «искусства добродетели». Здесь учили богословию, языкам (еврейский, греческий, латынь), истории. «Без сомнения, Ницше с трудом освоился с новой для него жизнью. Он редко принимал участие в играх, так как не любил сходить с незнакомыми ему людьми, а нежная материнская ласка была плохой подготовкой к дисциплине Пфорты».

Нам мало известно о жизни Фридриха в монастыре. Сохранился один анекдот, подчеркивающий стоицизм нашего героя. Когда однокашники поставили под сомнение рассказ о Муции Сцеволе, в доказательство своей выносливости положившем руку на пылающий костер, Ницше, не говоря ни слова, вынул раскаленный уголь из камина и положил его к себе на ладонь. След от этого ожога остался у него на всю жизнь.

Из дневника студента мы узнаем о его жажде знания, «изучении всемирной культуры». Юного поэта интересуют в Пфорте геология, ботаника, астрономия, военные науки, разного рода технические познания. «И над всем возвышается Религия, основание всякого знания. Как ни велика область, охватываемая знанием, но искания правды бесконечны!..»

Впрочем, музыка по-прежнему стоит на первом месте. Одно время он даже порывается покинуть Пфортю, объявляет матери, что университет ему наскучил, что он хочет быть не профессором, а музыкантом. Тем не менее он ни на минуту не бросает писать, перекладывая на бумагу все оттенки собственных переживаний и исканий.

В записках 17-летнего Ницше мы обнаруживаем весь круг проблем, которыми будет заниматься зрелый муж, начиная от страстного богоискательства и кончая размышлениями о природе человека.



...Разве можно, имея за собой только детское наивное миропонимание, нападать на авторитеты двух тысяч лет, признанные глубочайшими мыслителями всех времен? Разве можно, обладая только фантазиями, только зачатками идей, уйти от религиозной скорби и религиозного откровения, которыми была проникнута история? Решить философские проблемы, за которые человеческая мысль борется уже несколько тысяч лет, революционизировать верования, полученные нами от самых великих авторитетов, верования, поднявшие впервые человечество на должную высоту, связать философию с естествознанием, не зная даже общих выводов ни той, ни другого, и, наконец, построить на основах естествознания систему бытия, в то время как разум не понял еще ни единства всемирной истории, ни наиболее существенных принципов, – надо быть безумно смелым, чтобы решиться на все это...

Что такое человечество?

Мы едва можем ответить на этот вопрос: известная ступень существования, определенный этап эволюции, произвольное творение Бога... Разве человек на начальной ступени эволюции не был просто камнем, разве за ним не стоит в прошлом длинный ряд промежуточных состояний флоры и фауны? Является ли он в настоящее время полностью завершенным существом, или что-нибудь изменится в истории его развития?

Это вечное движение будет ли иметь конец?

Где находятся пружины этих громадных часов?

Как часто вся наша философия представляется мне Вавилонской башней! Философия приводит к печальным результатам: она только смущает народную мысль; надо ожидать великих событий в тот день, когда толпа поймет, что все христианство не имеет под собой никакой почвы. Существование Бога, бессмертие души, авторитет Библии, откровение – останутся вечными загадками. Я пытался отрицать всё, но, увы! как легко разрушать и как трудно созидать!

Перед нами почти все вопрошания, которыми будет мучиться зрелый философ. Он мыслит уже афоризмами, вполне отвечающими по стилю и содержанию будущим результатам его откровений: «Очень часто подчинение Божественной воле и приниженность являются только плащом, накинутым на низкое

малодушие, охватывающее нас в момент трагического столкновения с судьбой».

Любимыми авторами юного Фридриха в те годы были Шиллер, Байрон и Гёльдерлин, тогда еще непризнанный и малоизвестный. В Гёльдерлине он сразу узнал родственную душу, увидев в жизни недавно умершего поэта параллели с собственной судьбой. Гёльдерлин тоже родился в семье пастора и в юности хотел пойти по стопам отца. В 1780-м он изучал богословие в Тюбингенском университете одновременно с Гегелем и Шеллингом. Он тоже упивался чтением Гёте, Шиллера, Руссо, был влюблен в древнюю Элладу и мечтал создать произведения, равные по мощи творениям аттических авторов. Он тоже влачил нищенское существование, публика не оценила его гениальные поэмы; великие мира сего, включая Гёте, оказались к нему глухими. Перу Гёльдерлина принадлежала трагедия «Эмпедокл», герой которой во многом оказался предтечей «Заратустры».

Мировоззрение 17-летнего юноши нашло свое отражение в сочинении, посвященном этому «эллинскому монаху», сказавшему немцам «горькую истину» об их жалком и убогом филистерстве. Прочитавopus Фридриха, учитель словесности посоветовал «избрать какого-нибудь более здорового и ясного немецкого поэта» (Гёльдерлин, как позже сам Ницше, кончил безумием). «Разочарованный Ницше еще глубже замкнулся в себе и уже никогда больше не высказывал перед преподавателями Пфорты своих истинных чувств и мыслей».

Первые признаки серьезного заболевания дали себя знать в 1862 году: в конце весны возникли сильные боли в глазах, скорее всего, нервного происхождения. Каникулы были испорчены болезнью, но благодаря ей юноше продлили пребывание у родителей, безмерно обрадовав его – Пфорта постепенно вызывала все большую неприязнь.

Отношения с однокашниками у Фридриха складывались далеко не лучшим образом. И здесь его явное интеллектуальное превосходство делало одаренного юношу «белой вороной». К тому же он постоянно держался особняком, избегал студенческих пирушек и отдавал предпочтение книгам, а не «радостям жизни».

Все же в Пфорте он приобрел нескольких друзей, связи с которыми сохранялись и в последующие годы. Пауль Дёйссен и Герсдорф любили слушать импровизации Фридриха за роялем. Их объединяла также любовь к античности, особенно к Анакреону, и творческие искания. Они находились во власти юношеских лирических настроений, обменивались своими произведениями,

вместе мечтали о будущем.

Перед Ницше все чаще возникает вопрос о будущей карьере. В мае 1863 года он пишет матери:

Чем я буду заниматься? Я еще не решил этой проблемы, хотя вполне сознаю, что решение зависит исключительно от меня самого; я твердо знаю лишь то, что если примусь за какое-либо дело, то изучу его до самого дна; вследствие этого выбор становится еще труднее, поскольку надо найти такое дело, которое захватило бы меня безраздельно.

У меня так много стремлений и желаний... Но что же именно я должен выбросить за борт моей жизни? Может быть, как раз самых любимых моих детей?!

Многообразие интересов и увлечений крайне затрудняет окончательный выбор: посвятить жизнь музыке? языковедению? филологии? истории? Он пишет трактат «О демоническом в музыке» и набрасывает работу «О сущности музыки», изучает эстетику и историю литературы, штудирует произведения Гераклита, Платона, Эсхила, Софокла, древнегреческих лириков. Велик круг чтения взыскующего истины вундеркинда: Шекспир, Макиавелли, Эмерсон, Руссо, Пёттефи, Шамиссо, Гейбель, Шторм, Байрон...

Близилась выпускные экзамены. При всех неприятностях монастырской жизни он привязался к альма-матер, с которой связаны лучшие годы, где столько пережито и получено столько знаний. В сентябре 1864 года Ницше закончил курс обучения. Экзамены сданы блестяще, если не считать математики, к которой он был равнодушен. Но профессора, понимая духовные устремления юноши, смотрели на неудачу сквозь пальцы. Стихи, написанные Фридрихом на прощание с Пфортой, наполнены грустью и надеждой:

Пусть сбудется; я не нарушу течения жизни.

Пусть сбудется со мною то же, что и с другими:

Они уплывают, их легкий челн терпит крушение,

И никто не может указать места, где он затонул.

Прощайте, прощайте! Колокол звучит на корабле.

Я все еще медлю, и гребец торопит меня...

Смело вперед по волнам, не страшась бурь и мелей...

Прощайте! Прощайте!..

Ницше возвращается в отчий дом. По настоянию матери, желавшей видеть сына пошедшим по стопам отца, Фридрих записывается на теологический факультет университета в Бонне. Вместе с другом по Пфорте Паулем Дёйссеном и кузеном последнего верхом на лошадях трое молодых людей совершают поездку по Рейну и Пфальцу. Позже Пауль Дёйссен расскажет о ней как о сказочном времени безудержной радости и юношеского озорства.

«Я приехал в Бонн, – писал Ницше, – с горделивым предчувствием богатого неисчерпаемыми событиями будущего». Возвышенные представления о германских ликеях, видимо, не оправдались. В ферейнах, в один из которых пришлось вступить молодому человеку, царил раблезианский дух вседозволенности телемской обители, увлекший было «новичка»: бесконечные студенческие пирушки в прибрежных трактирах, вольготная жизнь вагантов, с песнями, шатаниями, дуэлями...

Сохранилась легенда о «посвящении» Ницше в рыцари: дабы воспитать в себе добродетели бойца и предстать перед друзьями героем, он решил драться на дуэли. Не найдя настоящего противника, Фридрих выбрал самого безобидного студента и сказал ему: «Я – новичок и я хочу драться! Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?» – «Охотно!» – ответил однокашник. Тогда-то Ницше и получил удар рапирой.

Он быстро пришел в себя от «пошлости и низости обыденной жизни» – студенческой вольницы. Видимо, в Бонне ему впервые пришел в голову проект создания утопической «общины» духовных единомышленников, к которому он будет много раз возвращаться на протяжении жизни, неизменно имея результатом фиаско. Фридрих изложил собратьям по ферейну идею создания «апостольского братства» – духовного союза, близкого к монашескому ордену по нравам и к «буре и натиску» по духовной плодотворности. Естественно, предложение не имело успеха: новому апостолу, грубо говоря, заткнули рот и –

не в первый и, увы, далеко не в последний раз в жизни – он сполна испил горькую чашу отверженного.

Фиаско поджидало Фридриха и с другой стороны: он осознал, что теология – не для него. При всей склонности юноши к мистицизму честность и совесть подсказывали ему, что пасторство лишь стеснит бушующую в нем стихию, принудит его лгать. О том же, в сущности, сказал ему и профессор Фридрих Ричль, разглядевший в студенте дар, далекий от теологических изысканий: «Если вы хотите быть сильным человеком, правильно выбирайте специальность».

Духовные искания Ницше в Боннском университете характеризуют письма 1865 года:

Мною часто овладевает полное отчаяние, но в душе моей постоянно живет стремление к вечной цели, поиск новых путей, которые приведут к истинному, прекрасному, доброму. Чем же все это кончится? Возвратимся ли мы к старым идеям о Боге и искуплении мира? Или для беззаветно ищущего решительно безразличен результат его исканий? К чему мы стремимся? К покою? К счастью? Нет, мы стремимся к истине, как бы ужасна и отвратительна она ни была.

Я был еще слишком сдержан и замкнут для того, чтобы не растеряться среди стольких обрушившихся на меня влияний; у меня не было еще достаточно силы для того, чтобы совладать с требовательно подступавшими жизненными обстоятельствами. С грустью в душе приходилось сознавать самому себе, что я еще ничего не сделал для науки, ничего не сделал для жизни, что в прошлом моем были лишь ошибки и заблуждения.

С нового семестра Ницше решает не возвращаться в Бонн и переехать в Лейпциг к профессору Ричлю. Отдавая себе отчет в несовместимости склада ума с узкой специализацией, он все-таки избирает филологию как науку, дисциплинирующую ум и позволяющую вернуть самоутверждающее начало.

Чем обязан Ницше учителю – своей «судьбе», как выразился он однажды? Прежде всего – поддержкой, которой ему прежде так не хватало. Конечно же, не филология стала причиной крутого поворота в судьбе юноши, но – чувство

прочного основания, которое дал ему Ф. Ричль. Нонконформизму юности всегда недостает уверенности в себе. Тут-то и необходимы наставники, подобные Ричлю. Позже учитель испугается смелости своего ученика, но, возможно, именно он – признанием одаренности ученика – позволил Фридриху раскрепоститься, полностью раскрыть свою самость, стать собой.

Ричль не стал схолярхом для своего ученика – философской премудрости тот набирался у Шопенгауэра, Ланге, античных авторов, то есть из книг. Он принадлежал к натурам, которые делают себя сами и для которых живой наставник необходим больше как поддержка, чем как учитель.

Настроения 22-летнего студиязуса, напитавшегося идеями Шопенгауэра, передают заметки весны 1866 года:

Три вещи в мире способны успокоить меня, но это редкие утешения: мой Шопенгауэр, Шуман и одинокие прогулки.

Далее следует описание чувств, пережитых во время одной из таких прогулок:

Я чувствовал себя несказанно хорошо, душа была полна силы и отваги, и я ясно ощутил, что понять глубину природы можно лишь ища у нее спасения от забот и дел! Что мне в такую минуту человек с его трепещущей волей. Как я далек от вечного «ты должен», «ты не должен». Молния, гроза и град точно из другого мира, свободные стихии, чуждые морали! Как они счастливы, как они свободны! Робкий разум не смеет смущать их свободную волю.

Большую часть лета 1866 года Ницше проводит в университетской библиотеке, перебирая византийские манускрипты. Нельзя сказать, что он безучастен к событиям, происходящим в это время в Германии (Бисмарк, Мольтке, битва при Садовой), но он уже прошел школу Шопенгауэра и знает, что политика и история – только призрачная игра, практические цели мало его интересуют, ему даже страшно подумать об участии человека, занимающегося «насушными, практическими целями».

История есть не что иное, как бесконечное сражение бесчисленных и разнообразных интересов, столкнувшихся на своем пути в борьбе за существование. Великие «идеи», которые, по мнению большинства, являются двигателями этой борьбы, суть не более как отражения света, скользящего по взволнованной поверхности моря. Она не оказывает на само море никакого воздействия, но волны могут приобрести в этом свете своеобразную красоту и даже способны обмануть наблюдателя своим блеском.

После окончания Пфорты друзья Фридриха разъехались по разным городам: Дёйссен учился в Тюбингене, Герсдорф в Берлине. Друзья поддерживали переписку, но встречались редко. Поэтому большой радостью для Фридриха стало знакомство с Эрвином Роде, вскоре ставшим его другом. Ницше отличала склонность идеализировать близких ему людей, нередко подводившая его, но в данном случае он не ошибся: в Эрвине он действительно нашел родственную душу. Роде страстно любил музыку, говорил на пяти языках, владел большинством немецких диалектов, а главное, оказался прекрасным товарищем.

Летние каникулы 1867 года друзья провели в Вогезах, ведя жизнь бродячих судей мира – философов. «Первый раз в жизни я испытываю радость дружбы», – признавался Фридрих в письме близким. Путешествуя пешком по Богемскому лесу, друзья вели бесконечные разговоры о Шопенгауэре, Бетховене, древних греках. В Мейнингене, накануне расставания, два меломана случайно оказались на концерте Ф. Листа, дирижировавшего симфонической поэмой Ганса Бюлова «Нирвана», созвучной максимам Шопенгауэра. На следующий день Фридрих вернулся в Наумбург.

Осенью 1867-го многие студенты Лейпцигского университета оказались не в аудиториях, а в казарме. По причине близорукости Ницше был освобожден от воинской повинности, но армия нуждалась в инсургентах, и его зачислили канониром в артиллерийский полк, квартировавший в Наумбурге.

Выходец Пфорты не испытал тягот солдатчины, тем более что длилась она недолго: во время кавалерийских занятий он получил травму, потерял сознание и попал в госпиталь с разрывом грудных мышц. Мучительное лечение продолжалось около полугода. Его признали негодным к службе в армии, и после короткой побывки в Наумбурге Фридрих возвратился в университет.

В Лейпциге его ждали приятные неожиданности. Профессора и студенты устроили «раненому» теплый прием, из Берлина пришел заказ из солидного журнала на статью. Кроме того, ему, выпускнику, предложили работу музыкального критика. Но самым большим событием его жизни стало знакомство с некогда опальным, а ныне входящим в моду композитором, поэтом, публицистом, философом, революционером Рихардом Вагнером.

Нам еще надлежит познакомиться с перипетиями отношений двух немецких гениев, сказавшимися на жизни и творчестве Фридриха Ницше, но необходимо сразу предупредить, что они не были пастельными в молодости и исключительно темными в зрелости, как это нередко представляется биографами Ницше.

Он не сразу пришел к Вагнеру, предпочитая ему старых мастеров, и даже после «Падения Вагнера» не стал его непримиримым врагом.

Хотя инициатива в этих отношениях всегда принадлежала Ницше, движущая сила большей частью определялась Вагнером, так и не уразумевшим масштабность своего младшего друга.

Ницше и Вагнер встретились в момент, когда первый находился на пороге творческой деятельности, а второй – славы. Одному было 24 года, другому 55 лет. Одной разницы в возрасте было достаточно, чтобы определить их отношения – учителя и ученика, никак не отвечающие мощи духовного мира второго. Фактически отношения и складывались как постепенное освобождение рвущегося к свободе молодого человека от давящего авторитета мэтра немецкой музыки и немецкой мысли.

В ноябре 1868-го Рихард Вагнер гостил в Лейпциге у своей сестры, госпожи Брокгауз, подругой которой была жена профессора Ф. Ричля. На одном из семейных вечеров Вагнер сел за рояль и заиграл попури из «Мейстерзингеров». Фрау Ричль, послушав отрывки из оперы в исполнении автора, рассказала, что уже слушала дивную музыку в исполнении музыкально одаренного студента своего мужа – Фридриха Ницше, игравшего ее вдохновенно и с огромной экспрессией. Вагнер был заинтригован и выразил желание встретиться со своим поклонником.



На самом деле Ницше увлекся Вагнером совсем недавно – и именно «Мейстерзингерами». Его совершенно потрясла увертюра к опере, заставившая пережить новые, ранее неведомые ему чувства. Когда вскоре после этого события Ницше получил неожиданное приглашение на встречу с автором, он испытал состояние, описанное им самим в письме к Э. Роде:

Мне хотелось бы дать тебе хоть какое-то представление о том совершенно особенном состоянии, которое я пережил в течение этого вечера, о живой радости этой встречи. Я все еще не могу прийти в состояние равновесия и, милый друг, не могу сделать ничего лучшего, чем рассказать тебе пережитое в форме волшебной сказки. До и после обеда Вагнер играл нам лучшие места из «Мейстерзингеров» и сам исполнял все партии; ты, конечно, можешь себе представить, что ему многого не хватало. Это человек баснословно живой и стремительный; говорит он чрезвычайно быстро, речь его блещет умом, и он легко воодушевлял наше интимное общество. Я имел с ним продолжительный разговор о Шопенгауэре. Ты понимаешь, с какой радостью я услышал от него восторженный отзыв и признание в том, сколь многим он обязан Шопенгауэру, единственному из всех философов понимавшему сущность музыки. Затем он пожелал узнать, как относятся к Шопенгауэру современные философы. Он очень смеялся над философскими конгрессами в Праге и упомянул о философском «лакействе». Потом он прочел отрывок из только что написанных мемуаров, сценку из его студенческой жизни в Лейпциге, написанную с необычайным юмором, о которой до сих пор не могу вспомнить без смеха. У Вагнера удивительно гибкий и тонкий ум.

Что привлекло в Вагнере молодого Ницше? Я полагаю, не ореол славы, не олимпийство, но вагнеровский модернизм, вагнеровский дух обновления культуры, вагнеровская независимость. Знакомство с Вагнером, чтение его эстетических произведений – «Искусства и революции», «Оперы и драмы» – вновь пробудили сомнение молодого филолога в правильности избранного пути. Он давно ощущал в себе способность не только глубоко переживать звуки музыки, но слышать голос бытия, его влекло к высшей мудрости существования, а полученное образование приковывало его к ушедшим культурам, ветхим рукописям, праху цивилизаций. Трудно сказать, как сложилась бы судьба молодого филолога, если бы не случай...

Однажды профессор Ричль обескуражил любимого студента вопросом, не желает ли он, его выпускник, получить кафедру филологии Базельского университета? Ницше, еще сам не кончивший курса наук, не имевший научной степени, опубликовавший лишь две статьи в «Рейнском музее», был ошеломлен таким предложением. Как выяснилось, он недооценивал себя. Его статьи обратили на себя внимание, и профессор А. Кисслинг, покидавший Базель, написал своему другу и наставнику письмо с просьбой дать рекомендацию Фридриху Ницше как возможному его преемнику. Ф. Ричль, давно поверивший в необыкновенные способности своего любимца, ответил, что за 40 лет профессорства не встречал более зрелого и глубокого человека, которому суждено стать звездой немецкой филологической науки. Он даже назвал его гениальным. В рекомендательном письме Ричля читаем:

Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить – дай ему Бог этого! – я предсказываю, что однажды он займет ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силен телом и духом... Здесь, в Лейпциге, он стал идолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом нисколько не в ущерб своей любезности и скромности.

Судя по всему, молодой Ницше умел производить впечатление, он очаровал не одного Ричля. Рихард Вагнер, гонимый и самый знаменитый немец второй половины XIX века, «едва ли не с первой встречи расслышал в своем 25-летнем друге героические лейтмотивы еще ненаписанного “Зигфрида”»:

Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же поглядеть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой.

Ницше не подвел ни Ричля, ни Вагнера: занял ведущее место не только в немецкой филологии и стал образцом не только немецкой свободы.

Профессор Ричль действительно верил в славную будущность Фридриха, тревожась только необузданностью и размахом его интересов. Не метайтесь, сдерживайте себя! – таково было напутствие учителя ученику.

Конечно же, сам соискатель кафедры и должности экстраординарного профессора был польщен лестным, редким, если не единственным по тем временам, предложением. Его влекла свобода, самостоятельность, а также возможность ближе познакомиться с Вагнером, жившем с 1866 года в Швейцарии.

Ницше получил диплом без экзаменов. Он подготовил диссертацию о Диогене Лаэртском, однако лейпцигские профессора посчитали неэтичным устраивать экзамен базельскому коллеге – совет факультета пришел к единодушному решению засчитать опубликованные статьи и присвоить выпускнику степень доктора *honoris causa*.

Перед отъездом в Швейцарию молодой профессор гостил у матери в Наумбурге. Семья была в восторге от его успехов: «такой молодой – и уже профессор университета!» Ницше предстояло решить вопрос о подданстве. В связи с переездом в другую страну он перестал быть гражданином Пруссии, но швейцарского гражданства решил не добиваться. Он так и остался «гражданином мира». Видимо, это отвечало характеру его грядущей философии.

Ницше – Герсдорфу, 13 апреля 1869 года:

Вот и пришел последний день моего пребывания у домашнего очага. Завтра уйду в широкий свет, начинаю новое для меня ремесло, вступаю в тяжкую атмосферу обязательств и долга. Пора сказать «прости» золотому времени, когда труд был свободен, каждая минута приятна, когда искусство и мир представлялись нам великолепным зрелищем, в котором мы были зрителями... Это время безвозвратно ушло, теперь наступило царство жестокого бога – повседневного труда.

В автобиографии, представленной в Базельский университет, Ницше писал:

Мне всегда казалось достойным внимания, какими путями приходят именно к классической филологии; полагаю, что некоторые другие науки при их цветущей и удивительной оплодотворяющей силе имеют большее право на приток целеустремленных талантов, чем наша, хотя еще бодро шагающая, но все же там и сям обнаруживающая дряблые черты возраста филология. Я предвижу натуры, которых ставят на этот путь обыкновенные меркантильные интересы... Многими движет прирожденный талант преподавания, но и для них наука – лишь действенный инструмент, а не серьезная цель их жизненного пути, к которой увлеченно стремятся. Есть небольшая группа наслаждающихся эстетикой греческого мира, и еще меньшая, для которой мыслители древности пока до конца не продуманы. У меня нет никакого права причислять себя исключительно к какой-либо из этих групп: ведь путь, приведший меня к филологии, столь же далеко отстоит от практического благоразумия и низкого эгоизма, как и от того пути, по которому несет факел вдохновенная любовь к древности.

Принимая кафедру филологии, Ницше уже думал о философии. В том же письме к Герсдорфу от 13 апреля он признается, что философия Шопенгауэра укоренилась в нем и что свою цель он усматривает в том, чтобы наполнить филологию свежей кровью шопенгауэровской философии: «Я хотел бы быть чем-то большим, чем педагогом добродетельных ученых, я должен заботиться о грядущем поколении». «Если уж мы должны выносить нашу жизнь, то постараемся, по крайней мере, прожить ее так, чтобы после желанной смерти (шопенгауэровский мотив!) мы могли рассчитывать на уважение!»

По дороге из Наумбурга в Базель Ницше посетил Кёльн и Бонн, спустился по Рейну до Бибераха, затем железной дорогой добрался до Висбадена. Он посетил также Гейдельберг, целый день прогуливался по улицам центра германской культуры, затем сел в поезд до Базеля. В поезде он узнал, что в Карлсруэ дают «Мейстерзингеров». Он вышел в Карлсруэ, дабы еще раз насладиться Вагнером. На следующий день Ницше покинул Германию. 19 апреля 1868 года он сошел на вокзале Базеля. Начался новый этап жизни – в качестве базельского профессора.

Охотник до загадок

Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его – или отстал от него.

## Ф. Ницше

Трудно придумать большую несовместимость, нежели словосочетание «профессор Ницше». Человек, рожденный для «переоценки всех ценностей», воплощение ищущего духа и свободомыслия, окунувшись в рутинную жизнь лектора, скоро ощутил себя прикованным к галере. Ежедневные лекции в университете и гимназии «Педагогиум», где он читал греческий, вызывали у него приступы депрессии, отвращения к филологии и к науке вообще. Свидетельство тому – набросок, сделанный в первый год профессорства:

Цель науки – уничтожение мира... Доказано, что этот процесс происходил уже в Греции: хотя сама греческая наука значит весьма мало. Задача искусства – уничтожить государство. И это также случилось в Греции. После этого наука разложила искусство.

Сближение Ницше и Вагнера, в ту пору «родственных душ» (несмотря на значительное различие в возрасте), во многом объясняется стремлением первого «превозмочь» судьбу. Рихард Вагнер, недавно женившийся на женщине выдающегося ума и красоты Козиме Бюлов, дочери Листа и жене его первого ученика, выдающегося пианиста и дирижера Ганса Гвидо фон Бюлова (Вагнер буквально похитил ее у первого мужа), в это время жил в Трибшене, что близ Люцерна, в паре часов езды от Базеля. К ним-то и решил направить свои стопы молодой профессор, в памяти которого было свежо воспоминание о встрече с Вагнером в Лейпциге.

Ницше удачно выбрал время встречи: Вагнер переживал депрессию, связанную с «глухотой современников», и находился в состоянии самоизоляции от «общества». Ведя затворническую жизнь, уйдя в работу над «Кольцом Нибелунгов», он встретил Ницше как долгожданного друга – ему не хватало общения, еще больше – почитания, которое он надеялся обрести в лице одаренного профессора с мягкими манерами, тихим голосом и влюбленными глазами. Никто не знает, о чем они говорили в тот день, гуляя по живописному берегу Фирвальдштетского озера, однако эта встреча положила начало дружбе двух антиподов – по характеру, возрасту, мировидению, духовному складу.

Д. Алеви:

Удовольствию Ницше не было границ. Уже давно его мучила жажда любви, обожания, жажда слушать кого-нибудь. До сих пор он не мог удовлетворить своего желания, так как не встречал человека, достойного быть его учителем. Наконец-то он нашел человека, в отношении которого никакая любовь, никакое обожание не покажутся чрезмерными. Ницше был всецело увлечен этим чувством и решил стать верным последователем гениального отшельника, бороться вместе с ним против инертной толпы, против Германии с ее университетами и церквами, парламентом и двором. Какое впечатление произвел он на Рихарда Вагнера? Без сомнения, Вагнер был тоже счастлив этой встречей; с первого знакомства он открыл в своем друге необыкновенное дарование. Он мог говорить с ним не таясь, мог слушать правду другого. Как мало людей доставляли ему эту радость!

Вагнеру пришлось по душе свободомыслие и глубина молодого друга. В одном из писем к Ницше он так и писал: «Спасите мою упорную «веру» в германскую свободу, как я ее называю вместе с Гёте...». Характер отношения Ницше к Вагнеру периода встреч в Трибшене явствует из его писем друзьям:

Вагнер воплощает в себе идеальный тип человека: у него изумительно богатый, великий ум, поразительно энергичный характер; этот очаровательный человек достоин любви, он горит желанием знать все.

Никто в мире не знает его и не может судить о нем, потому что весь мир покоится на чуждых ему основах и теряется в атмосфере его творчества. В душе Вагнера царит такой абсолютный идеализм, такая глубокая и трогательная человечность, что я чувствую себя около него как бы в присутствии божества...

Ницше тянется в Трибшен, ему здесь всегда рады, с Вагнером они обмениваются рукописями, мыслями, обсуждают идеи и замыслы, слушают музыку. «Гибель богов» рождалась на глазах Ницше, именно ему Вагнер вручил рукопись с просьбой отпечатать первые 12 экземпляров. Ницше выполнял и другие семейные поручения. Поездки в Люцерн милы сердцу Ницше еще по одной,

глубоко скрываемой причине. Он тайно влюблен в Козиму Вагнер, «как бы в присутствии божества» вполне может относиться не только к Вагнеру, но и к ней...

Нам еще предстоит выяснить, какую роль играли женщины в жизни Ницше – это сложная, все еще нерешенная проблема. Но с Козимой Вагнер как будто все ясно – для него она уникальное сочетание друга и божественной Софии, недоступное небесное создание, с которым можно общаться, перед которым можно благоговеть...

Первые годы в Базеле, за исключением рутины профессорства, можно считать удачными для Ницше. Он имел успех у базельской публики, ходил, что называется, в молодых гениях. В доме Вагнера чувствовал себя своим, приобрел новых знакомых и друзей, начал работу над книгой, которая, как впоследствии оказалось, стала переломным моментом в европейской филологии – я имею в виду «Рождение трагедии из духа музыки».

Книга эта выростала под влиянием двух кумиров – Гёте и Вагнера, но не как наследие их идей, а скорее – сам Ницше, возможно, этого еще не осознавал, – как контроверза им. С легкой руки Гёте в европейской культуре господствовало мнение о светоносности «детства человечества», эллинизма. Возможно, один Гёльдерлин рисовал иную Элладу, темную стихию Эмпедокла, сумрак и отчаяние Гипериона, несовместимость сократовского оптимизма с его трагическим концом. За александрийством Гёте Ницше рассмотрел именно это, гёльдерлиновское, темное начало, которое, как ему тогда казалось, вполне отвечает искусству Вагнера. Именно Вагнеру он изложил свое видение проблемы, лестное для учителя, представшего в книге в роли нового Эсхила: в одном из писем этого периода напрямую задается вопрос, будет ли вагнеровское искусство побеждено так же, как, в свое время, трагедия Эсхила?

Надо обновить идею эллинизма, поскольку мы пользуемся ложными посылками. Мы говорим о «радости», о «эллинской ясности», а на самом деле эти радость и ясность – лишь несозревшие плоды скудного знания, веков рабства. Тонкость Сократа и мягкость платоников уже несут на себе следы последующего упадка. Надо изучать древнюю поэзию шестого и седьмого веков. Тогда только можно прикоснуться к наивной мощи, к изначальному живительному соку Эллады. Между поэмами Гомера – эпосом ее детства, драмами Эсхила, произведениями ее зрелости, Греция путем огромных усилий овладевает своими инстинктами и

своим характером. Вот времена, достойные изучения, так как в них много сходства с нашим веком. Греки верили в то время, подобно современным европейцам, в фатализм естественных сил, в то, что должно самим себе творить и добродетель и богов. Их воодушевляло чувство трагического, смелый пессимизм, не отвращавший их от жизни. Между греками и нами (имеется в виду Вагнер) можно провести полную параллель: пессимизм и мужественная воля созидания новой (имеется в виду – трагической) красоты.

Позже Ницше печатно признается в ошибочности параллели Эсхил – Вагнер, пожалеет, что вплел в «Рождение трагедии» современность [Вагнера], но пока дионисийская стихия захлестывает древность и оттуда – волей автора – переносится в творения Вагнера, в ту же «Гибель богов».

Ницше – Герсдорфу:

Этой зимой я должен прочесть две лекции об эстетике греческих трагиков, и Вагнер приедет из Трибшена слушать меня.

Вагнер не приехал, у маэстро не оказалось времени, но Ницше собрал многочисленную публику, мало что смыслящую в дионисийском и аполлоновском началах, трагическом мирозерцании и рождении трагедии из борьбы сил жизни и порядка.

Во второй лекции речь шла о совращении юношества Сократом, соблазнении им Платона и уходе цивилизации с верного пути правды жизни на порочную стезю упадка, вызванного рассудочностью и разрушением веры. Бездельник Сократ, не умевший писать и говорить, юродивый, задиравший прохожих, циник и пустомеля, разрушил великие мифы, таинства и искусства, соблазнил человечество химерой «торжества разума», иллюзией мировой гармонии и порядка.

Как реагировал на лекции Ницше отсутствующий на них «революционер» Вагнер? Во-первых, посоветовал «не сломать себе шеи». Во-вторых, отказался от участия в совместной борьбе с «сократизмом» по причине отсутствия времени. Тем не менее он посоветовал Ницше, если последний тверд в своих намерениях, собрать все свои аргументы по обоснованию «дерзких взглядов» в большую,



пространную книгу. «Только тогда вы найдете себя и скажете истинное слово о божественных ошибках Сократа и Платона; ведь, несмотря на то, что мы отворачиваемся от них, мы все же не можем не обожать этих чудесных учителей».

Ницше конечно же нуждался в духовной поддержке старшего друга, но можно ли расценивать реакцию Вагнера как поддержку? Вагнер учил Ницше осторожности и половинчатости, что свидетельствовало о полном непонимании ни характера, ни масштаба младшего друга.

Молодой Ницше мало интересовался политикой, почти не читал газет, но известие о Франко-прусской войне 1870 года воспринял как удар грома: «Точно какой-то ужасный демон обрушился на всю нашу вековую культуру». В письме, адресованном Э. Роде, он пишет о европейском крахе: «Что значат теперь наши желания! Может быть, мы присутствуем при начале конца? Какая пустыня кругом... Единственное спасение в отшельническом уединении, и мы с тобой будем первыми монахами».

В начале войны он ведет себя действительно как отшельник – лето проводит в горном пансионе, занимаясь древнегреческой лирикой. Но 7 августа приходит сообщение из Ворса об огромных потерях германских войск, и Ницше внезапно принимает решение принять участие в военных действиях.

Несмотря на попытки Козимы Вагнер отговорить его от глупой затеи, он подает прошение об отпуске, дабы принять участие в военных действиях. Нейтральное правительство Швейцарии запрещает Ницше участие в боях, разрешив лишь службу в санитарном отряде. Окончив ускоренные санитарные курсы, 2 сентября, в день капитуляции армии Мак-Магона под Седаном и пленения императора Наполеона III, Ницше прибыл в Мец, где разместился огромный госпиталь раненных под Марс-ла-Тур, Сен-Прива и Седаном. Количество жертв войны столь велико, что их не успевают лечить, солдат косят инфекции и раны. Кратковременное пребывание «фельдшера»-профессора во Франции подтвердило любимое его изречение: «Страдание – самый скорый способ постижения истины». Ужасы войны Ницше узрел по ее плодам. Получив приказ сопровождать 11 раненых и больных, Ницше санитарным поездом возвращается в Германию. Трое суток в товарном вагоне он выхаживает больных дифтеритом и дизентерией по пути в Карлсруэ. Как говорится, страдание всегда достоверно, эту достоверность он теперь постигает не из древних книг, а на собственном опыте.

«Боевой опыт» Ницше, внезапно заболевшего патриотизмом, длился недолго – он заразился дифтеритом и дизентерией, и первый санитарный вояж стал для него последним. Несколько недель на фронте, по его словам, составили целую эпоху в жизни: он чуть не умер ради принципов, правда, не вполне ясных. Ему довелось узреть не героизм войны, а «кровь, грязь, хрупкость человеческого существа»: «Атмосфера, в которой я находился, осталась висеть надо мной, как черный туман, мне все время чудятся несмолкаемые стоны и жалобы».

Вернувшись после выздоровления в Наумбург, под свежим впечатлением трагических событий войны Ницше берется за рукопись своей первой книги. Пережитое он облекает в формулу трагического: «Трагический человек – это сама природа в высшем напряжении своего творчества и сознания, такой человек играет со страданием». У него даже возникает мысль назвать книгу «Трагический человек». Она будет построена на триаде: трагическое искусство – трагический человек – трагическое государство.

Война открыла Ницше глаза: когда вся Пруссия ликовала после победы под Мецем и пленения французской армии, Ницше писал Герсдорфу:

Я боюсь, что за наши чудесные национальные победы мы должны будем заплатить такой ценой, на которую я никогда не соглашусь. Говоря откровенно, я думаю, что современная Пруссия – в высшей степени опасна для культуры. Наша трудная задача состоит в том, чтобы сохранить философское спокойствие среди всей этой суеты и зорко следить за тем, чтобы никто воровским образом не расхитил достояние культуры, так как она ни с чем несравнима, даже с военной героикой, даже с высоким национальным подъемом.

У Ницше были основания для этих слов. В упоении побед Германия забыла о чествовании столетия со дня рождения ее величайшего гения – Бетховена. Вспомнил об этом единственный человек – Рихард Вагнер. В дни упоения военной победой Вагнер пишет, что подлинной национальной гордостью Германии является память о великом Бетховене. «Немцы, вы мужественны, – пишет Вагнер, – оставайтесь же такими и во время мира». Слова эти глубоко взволновали, по крайней мере, одного немца, который, не успев еще вполне выздороветь, помчался к Вагнеру.

Свидание со старшим другом охладило его пыл. Вагнер, великий во время мира, во время войны изменился к худшему. Победы германской армии над французами были для него мезью за освистанную «лягушатниками» музыку его, Вагнера, в Париже. Вагнер вульгарно радовался победам пруссаков и горел воодушевлением. Ницше, познавший цену этих побед, возвращался в Базель с чувством досады – возможно, именно тогда он впервые узрел в кумире обычного прусского филистера.

Разрушение Парижа, пожар в Лувре в майские дни 1871 года Ницше воспринял как собственную вину, как собственную неспособность достучаться со своими предостережениями до сильных мира сего.

Преступлением было для Ницше состояние умов современников, их безответственность, равнодушие, общепринятые ценности, тотальная фальшь. Человеческая усредненность, конформизм, безмыслие – вот что крушит памятники и музеи, рождает безответственность, трусость, духовное рабство.

Парижские события укрепили Ницше во мнении, что без элиты, иерархии, дисциплины невозможно существование культуры. Красота создана избранными для избранных, масса не нуждается и не воспринимает ее. Черни красота не нужна, чернь довольствуется малыми радостями жизни. Только иерархия гарантирует общественную стабильность и обеспечивает избранным возможность творить красоту.

По возвращении в Базель Ницше близко сошелся с коллегой по университету, историком Якобом Буркхардтом, одним из немногих в Европе увидевшим Франко-прусскую войну под углом зрения милитаристской опасности, грозящей Европе. Буркхардта пугал выход на военную арену истории многомиллионных наций, возможность гегемонии Германии его ужасала. По словам Д. Алеви, всем планам Бисмарка и Кавура он предпочитал совет Аристотеля сохранить полисный мир: число граждан не должно превышать десяти тысяч, иначе они не поместятся на агоре[4 - Площадь в греческих полисах для демократических собраний «свободнорожденных».]

В лекции Я. Буркхардта «Историческое величие», на которой присутствовал Ф. Ницше, речь шла о тщете военных триумфов пред протестантскими добродетелями и величием труда:

Сколько было могущественных держав, забытых историей, и по справедливости достойных такого забвения. Гораздо реже можно видеть историческое величие; оно заключается всецело в творчестве великих людей. Так, неизвестный строитель оставил человечеству Нотр-Дам де Пари, Гёте подарил нам «Фауста», Ньютон – закон о Солнечной системе. Только в таких делах и заключается истинное величие.

Ницше и Буркхардт часто встречались и много беседовали на темы культурных традиций, будущего Европы, опасностей, поджидающих ее в виде социализма, милитаризма, шовинизма. Под влиянием Буркхардта Ницше окончательно излечился от угара патриотизма. В записи этого периода он сообщает о своем стремлении уйти «из-под влияния чуждой культуре Пруссии»: «Лакеи и попы вырастают в ней, как грибы, и наполняют своим чадом всю Германию».

К друзьям Ницше базельского периода следует отнести также филолога Мэйли, историка церкви Овербека, философа-кантианца Генриха Ромундта. С двумя последними Ницше жил в одном доме, получившем среди базельцев прозвание «ядовитая хижина». По словам Буркхардта, Ницше был замечательным учителем, умевшим увлекать молодые души.

То ли под влиянием Буркхардта, то ли – ностальгических воспоминаний о юности, проведенной в Пфорте, то ли – в противовес замыслу Рихарда Вагнера создать байрёйтский театр – Ницше посещает идея, к которой он будет затем множество раз возвращаться на протяжении своей жизни, идея, надо сразу признать, утопическая: создать свой Пор-Рояль, новый незримый университет, кружок единомышленников, свободно обсуждающих вдали от жизненных бурь проблемы культуры, философии, воспитания нации. Планируемые участники «монастыря», «общества анахоретов» – это друзья Ницше: Роде, Герсдорф, Дёйссен, Овербек, Ромундт. Цель – очевидна: «Мы образуем новую греческую академию».

Свой замысел Ницше раскрыл в записях и письмах к друзьям:

Современное анахоретство – это, конечно, странное зрелище, порожденное эпохой победоносной войны; ведь это – свидетельство полной невозможности жить в согласии с государством.

Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго; я, во всяком случае, решил так поступить.

Постараемся доплыть до того маленького острова, где уже больше не придется затыкать уши воском. Мы будем там учителями друг друга. Наши книги с этого дня станут удочками, с помощью которых мы будем привлекать к себе друзей в нашу эстетическую, и монашескую ассоциацию. Будем работать и услаждать друг другу жизнь, и только таким образом мы сможем создать «общество»... Короче, мы не будем пренебрегать никакими легальными средствами, чтобы достигнуть нашей цели – основать монастырь.

Почему Ницше раз за разом обращался к своей утопической идее «апостольского братства», «монастыря», общины высоколобых, фаланстера духа? Я напому лишь некоторые попытки такого рода:

– идея создания «Общества несвоевременцев», «братского союза учеников и учителей» в 1873 году, после окончания работы над первым эссе «Несвоевременных размышлений»;

– план г-жи Мейзенбург, Ф. Ницше, П. Рэ и А. Бреннера организовать «школу воспитателей» в Сорренто в 1876 году. Они даже занялись поисками природных гротов для новой школы перипатетиков, и Ницше написал тогда сестре: «Моя идея о школе воспитателей или, если хочешь, о современном монастыре, идеальной колонии, свободном университете, все время носится в воздухе... В своем воображении мы уже назначили тебя экономом, администратором нашего общежития на сорок человек»;

– в августе 1884 года идею создания «идеального монастыря» воскресил Генрих фон Штейн, молодой писатель, посетивший автора «Заратустры» в Сильс-Мариин. Он приехал к «отшельнику» только на три дня, но и этого хватило для того, чтобы Ницше, успевший оборвать свои дружеские связи, уверовал в возможность обрести новых перипатетиков;

– в октябре 1884-го то же повторилось – под влиянием Пауля Ланцкогго, молодого литератора, разыскавшего Ницше в Генуе. Ему он тоже рассказал о планах основания фаланстера по типу эмерсоновского. Здесь, на полуострове Св. Жана,

говорил Ницше пророческим тоном, мы раскинем наши палатки.

Мысля историческими категориями, Ницше аргументировал необходимость «апостольского братства» – ни много ни мало – спасением культуры: «С сотней поднявшихся против современных идей решительных до героизма собратьев наша шумная и затхлая культура будет повержена. Сотня людей в свое время вынесла на своих плечах цивилизацию Ренессанса». Это был как бы «официальный» ответ, но что двигало Ницше внутренне, подсознательно?

Нелегко ответить на поставленный вопрос. Возможно, ему постоянно недоставало человеческой близости, которую он уповал обрести в противоестественной для его душевного склада «коммуне». Возможно, его пугала смелость бродящих в голове идей – необходимо было прикрытие, поддержка духовно близких людей. Возможно, он уже тогда ощущал себя схолархом и жаждал своего Ликея. Возможно, таким образом он уповал на возможность замены семьи братством...

Каковыми бы ни были побуждения Ницше, каждый раз затея терпела вполне естественное фиаско, и каждый раз вполне естественный отказ друзей «уйти в монастырь» вызывал у него огромную душевную травму.

Э. Роде – Ф. Ницше:

Ты говоришь, что теперь нужны монастыри – я верю тебе. Но в жизни есть суровая необходимость, против которой бессильны все средства... Я не чувствую в себе такой творческой силы, которая сделала бы меня достойным того уединения, к которому ты меня призываешь. Допустим, у нескольких друзей появится желание уединиться в обители муз. Что же станет с нами, когда пройдет этот порыв?

Таковыми каждый раз были ответы всех выбранных им претендентов в монахи, но Ницше остался глухим к их естественной аргументации, возможно, воспринимал отказы как акты предательства. Его глухота объяснима лишь глубиной бессознательного желания создать свое апостольское братство. Ницше всегда вдохновлялся открытыми им идеями, эти открытия нередко уводили его далеко от реальности, лишали трезвости, превращали в экстремиста. Но здесь нечто

другое, более глубокое и таинственное...

В начале 1871 года Ницше предпринимает неудачную попытку перейти на кафедру философии Базельского университета, предложив на свое место Эрвина Роде. Мы не знаем всех мотивов такого решения – не последним было желание видеть своего ближайшего друга рядом. Попытка не удалась: у Ницше не было имени в философии, да и руководитель кафедры К. Стеффенсен вполне соответствовал шопенгауэровским представлениям об университетских философах. Кандидатура Ницше была провалена, и из всего этого он вынес лишь горечь, связанную прежде всего с вовлечением в авантюру своего друга. Он давно уже ощущал себя нездоровым, а события войны, провал инициатив, близящийся переезд Вагнера из Трибшена в Байрёйт – все это привело к первому серьезному кризису.

Д. Алеви:

Ницше на протяжении всей своей жизни не мог оправиться от впечатлений и последствий войны: к нему уже никогда не возвращался ни спокойный сон, ни прочное здоровье. Его поддерживала только нервная энергия, но в феврале и она внезапно покинула его. Присущая ему и раньше душевная депрессия охватила его в самой острой форме. Какова была причина болезненных явлений, мучивших его на протяжении пяти месяцев? Ницше страдал от сильнейшей невралгии, бессонницы, расстройства зрения, боли в глазах и желудке, разлития желчи. Врачи, не разобравшись в причинах его болезней, посоветовали ему предпринять какое-нибудь путешествие и настаивали соблюдать покой. Ницше выписал сестру из Наумбурга, поехал с ней в Трибшен, нанеся последний визит, и затем отправился с ней в Лугано.

Здесь уместно отступление о событиях в Трибшене. Еще в начале 1870 года возникла идея создания для Вагнера театра в Байрёйте. Идея принадлежала королю Баварии, дом в Трибшене наполнился новыми людьми, места для Ницше здесь оставалось все меньше. Вагнеру никогда не хватало деликатности, теперь же, на пороге славы, упоенный признанием и обществом почитателей, он все меньше замечал молодого человека с категорическими суждениями и бескомпромиссной правдой. Ницше был нужен Вагнеру-отшельнику, с ним было интересно проводить время. Теперь его ждали «великие дела», он готовился к роли «национального героя», и Ницше становился опасен. Видимо, сам Ницше,

обладающий обостренным чутьем ясновидящего, почувствовал перемену задолго до ее явных проявлений – и она лишь добавила хвороста в сжигавший его огонь, которому однажды удалось вырваться наружу...

Пока же он в дилижансе пересекал Сен-Готардский перевал (железная дорога через Альпы тогда еще не была построена [5 - Прокладка Сен-Готардского туннеля в Лепонтинских Альпах началась в 1872-м и завершилась в 1880 году.]). Позже эта точка на карте станет его точкой бифуркации – в своем бегстве от самого себя он многократно окажется здесь в поисках спасения.

В Лугано Ницше приехал почти выздоровевшим: ему для этого было достаточно красивого перевала, снеговых вершин и горной тишины. Его натура была еще по-прежнему по-юношески восприимчивой, и возвращение к жизни совершалось быстро и радостно. Он прожил в Лугано два приятнейших месяца.

Из Лугано Ницше пишет Э. Роде:

С каждым днем я все больше ухожу в область философии и обретаю веру в себя; более того, если мне суждено сделаться некогда поэтом, то именно с этого времени я встал на этот путь. Я не знаю, не могу знать, по какому пути поведет меня моя судьба, и, тем не менее, анализируя себя, вижу, как мое внутреннее существо делается все гармоничнее, точно под влиянием посетившего его какого-то доброго гения.

Альпы разбудили в Ницше глубоко дремавшего в нем философа и поэта. В Базель он вернулся готовым опубликовать свою первую книгу, единственную, дописанную им до конца. Он имел возможность и время окончательно продумать план, выбросить всё лишнее и взять на вооружение небескорыстный совет Вагнера представить античную трагедию как образец германской музыкальной драмы. Позже Ницше сожалел, что пошел на поводу у своего учителя, тем самым придав его творчеству оттенок дионисийства. «Рождение трагедии» посвящено Вагнеру и пронизано переплетающимися линиями Диониса – Аполлона и Шопенгауэра – Вагнера.



«До сего времени мы рассматривали аполлоновское начало и его противоположность – дионисийское – как художественные силы: с одной стороны, как художественный мир мечты, завершенность которого не стоит в какой-либо связи с интеллектуальным уровнем или художественным образованием отдельной личности, а с другой – как опьяняющую действительность, которая также не принимает во внимание отдельную личность, а, наоборот, стремится даже уничтожить индивида и заменить его мистической бесчувственностью целого».

Освобождающим из этих символов предстает у Ницше дионисийское начало, как бы помогающее «избыть» страдания кошмарного бытия. Оно становится отныне его постоянным спутником. И как удивительное предвидение собственной судьбы звучат его слова: «Танцую и напевая, являет себя человек как сочлен высшего сообщества: он разучился говорить и ходить, а в танце взлетает в небеса... в нем звучит нечто сверхъестественное: он чувствует себя Богом, сам он шествует теперь так возвышенно и восторженно, как и боги в его снах». (Именно в таком экстазе полтора десятилетия спустя увидит Овербек уже сошедшего с ума Ницше в Турине.)

Исходя из «метафизики ужаса» Шопенгауэра, Ницше стремился отыскать контрпозицию христианству и находил ее в символе или мифе разорванного на куски Диониса, в раздроблении первоначала на множество отдельных судеб, на мир явлений, называемых им «аполлоновой частью». То первоначало, которое Шопенгауэр назвал волей, есть основа бытия, оно переживается непосредственно и прежде всего через музыку. От прочих видов искусства музыка, по мнению Ницше, отличается тем, что она выступает непосредственным отражением воли и по отношению ко всем феноменам реального мира является «вещью в себе». Поэтому мир можно назвать воплощенной музыкой так же, как и воплощенной волей.

В дни подписания Франкфуртского мира Ницше занимался тем, что «восстанавливал мир внутри себя», приводил в порядок свою книгу. Он писал, что его собственные мысли не менее значительны, чем мировые события, вовлекшие в европейские конфликты миллионы людей. Собственные мысли не менее значительны потому, что именно он предчувствовал и предвидел эти мировые события, аллегорически описал их в книге, внешне посвященной древней Элладе.

Когда в мае 1871 года из Парижа пришли сведения о бесновании народных толп, разрушениях и пожарах, он с рыданиями бросился к Якобу Буркхардту, который тоже предсказал все произошедшее. Они столкнулись на улице, потому что Буркхардт тоже в смятении искал его. Они долго беседовали в кабинете Ницше, прерывая разговор слезами – плачем по человеческой культуре.

Ницше – Герсдорфу:

Нельзя со спокойным самодовольством взирать на результаты войны против культуры и обвинять во всем тех несчастных, которые начали ее. Когда я узнал о пожаре Парижа, то на протяжении нескольких дней чувствовал себя уничтоженным и мучился в слезах и сомнениях. Научная, философская и художественная жизнь показались мне абсурдом, если за один день можно разрушить и уничтожить самые прекрасные творения искусства, даже целые эпохи в искусстве. Я глубоко скорбел о том, что метафизическая ценность искусства не могла явить себя этим несчастным... Но сколь бы великим не было мое горе, я никогда не брошу камня в голову этих святотатцев, ибо, по моему мнению, все мы несем вину за то преступление, над которым стоит думать и думать.

Позже в автобиографических заметках Ницше запишет: «Война: самым большим горем для меня был пожар Лувра».

Судьба, до поры благосклонная к базельскому профессору, проявила свое непостоянство во время Франко-прусской войны: тогда он чудом спасся от смерти, едва не погибнув от дизентерии. К нему даже вызывали священника для предсмертной исповеди. Здоровье его сильно пошатнулось, и после этого он редко ощущал себя полным сил.

Другой удар связан с изданием первой книги. Сознвая поворотный характер этого произведения, Ницше был ошеломлен отказами издателей. В отчаянии он решает напечатать отдельные главы книги в виде журнальных статей. «Я выпускаю в свет мою маленькую книгу по кусочкам, – пишет он Роде, – какое мучительное чувство разрубать на куски живое тело». Ницше чувствует себя униженным: он не сомневался, что книга будет иметь успех, а оказалось, что он не имеет возможности представить ее публике. То, что публика может оказаться равнодушной к его творению, он вообще не допускает.

Осенью 1871-го приходит наконец долгожданное согласие издателя сочинений Рихарда Вагнера опубликовать книгу Ницше, которая появляется на свет в последний день этого же года. Первый экземпляр он направляет Рихарду и Козиме Вагнер. Ответ Козимы краток, но точен: «О, как прекрасна Ваша книга! Как она прекрасна и как глубока, как она глубока и как она дерзновенна!» Вагнер тоже ответил комплиментами. Восторженно приняли книгу другие друзья – Буркхардт, Роде, Герсдорф, Овербек. Только ради таких оценок стоило жить!

Увы, оценками друзей дело и ограничилось. Никто больше не заинтересовался его книгой, никто ее не покупал, ни один журнал не удостоил внимания. Даже учитель, профессор Ричль, хранил молчание. Когда Ницше попросил его высказать свое мнение, ответ был обескураживающим – суровая, полная осуждения критика. Дабы поддержать друга, Э. Роде направил рецензию на «Рождение трагедии» в один из литературных журналов, но получил отказ. «Это была последняя серьезная попытка защитить меня в каком-нибудь научном издании, – писал Ницше Герсдорфу, – и теперь я уже ничего не жду, кроме злостных и глупых выходок». Ницше еще надеялся, что будущее человечество оценит его труд, «так как многие вечные истины сказаны там впервые», но очевидно, что он оказался абсолютно не готов к провалу, был обескуражен им, совершенно раздавлен. Подобный прием ему предстоит испытать много раз, но первый провал вместо ожидаемого триумфа оказался особенно болезненным. В те дни он утратил былую уверенность в себе, возможно, именно тогда в нем зародилось то негативное отношение к немцам, которое с огромной силой выразится в последующих его трудах. В записях этого времени бросается в глаза риторический вопрос: «Можно ли надеяться когда-нибудь облагородить человечество?».

Кстати, первая рецензия на «Рождение трагедии» – появившаяся спустя три года после издания книги, опубликована не в немецкой, а в итальянской печати. «Как это символично», – написал тогда Ницше.

Фридрих Ницше – Мальвиде фон Мейзенбург:

Со своим «Рождением трагедии» я сделался самым непотребным филологом сегодняшнего дня и вынудил тех, кто захотел бы вступить за меня, проявлять подлинные чудеса храбрости – настолько все единодушны в желании вынести

мне смертный приговор.

Ницше надеялся на восторженный прием «Рождения трагедии», а ожидал его настоящий остракизм. Первой ласточкой стал памфлет У. Виламовица «Филология будущего. Ответ Фридриху Ницше», в котором соученик по Пфорте не пожалел ни самолюбия, ни профессиональной чести однокашника. Ульрих Виламовиц-Мёллендорф был учеником Отто Яна, противника учителя Ницше Вильгельма Ричля. Школа Яна поддерживала винкельмановскую концепцию античной красоты, и, естественно, дионисийская природа греческой трагедии была для нее отказом «видеть сущность эллинского искусства в красоте». Для Виламовица совершенно неприемлемым стало вторжение философии в филологию. Он считал анархической дерзостью реконструкцию сознания аттического человека и тем более попытку Ницше отыскать скрытые силы культуры. С особой иронией и сарказмом Виламовиц реагировал на отождествление античной и вагнеровской музыки. Для него вагнеровское искусство представлялось насилием над ясностью и гармонией музыки. Образцовым ориентиром школы Яна была музыка Моцарта, а не Вагнера. Нельзя не упомянуть того обстоятельства, что полемика вокруг дионисийского начала во многом свелась не к «Рождению трагедии», а к музыке Вагнера, ибо книга Ницше многим представлялась не столько основополагающим вкладом в филологию, сколько апологией входящего в моду Рихарда Вагнера, революционные эстетические концепции которого многими встречались в штыки. В значительной степени Ницше пришлось принять удар, адресованный его старшему другу. За первой ласточкой потянулись другие. Увы, в желающих бросить в новатора камень никогда не было недостатка. В довершение бед после итальянских каникул 1872 года базельские студенты объявили лекциям молодого профессора настоящий бойкот.

Ф. Ницше – Э. Роде:

Святая Vehme [инквизиция] хорошо исполнила свой долг. Надо жить так, будто ничего не случилось. Но мне жаль, что наш маленький университет страдает из-за меня; за последний семестр мы потеряли 20 слушателей; я с трудом мог начать курс о риторике греков и римлян; у меня всего два слушателя: один – германист, другой – юрист.

Нельзя понять до конца произведения мыслителя, не увязав их с обстоятельствами его жизни. В 1872–1873 годах Ницше работал над эссе о древнегреческих философах[6 - Задуманная Ницше книга «О философах трагической Греции», как почти все его творения, осталась незавершенной; написано было лишь несколько глав.], но в центре его изысканий находились личные переживания. На что может рассчитывать философ? Удалось хотя бы одному великому мыслителю увлечь за собой свой народ? Вроде бы одному удалось – Эмпедоклу. Но Эмпедокл был больше магом, чем философом, и толпу заражали не его мысли, а его мифы. Впрочем, чем он кончил, печально известно – об этом знает Этна. Пифагору удалось собрать вокруг себя секту. Может ли рассчитывать на большее мудрец?

Ни один из великих философов не увлек за собой народа! Все они потерпели неудачу. Кто же наконец будет иметь успех? На одной философии невозможно основать народную культуру.

Надо полагать, после публикации «Рождения трагедии» Ницше много думал о причинах своей неудачи. Почему пионерская работа оставила глухими не только публику, но даже коллег? Как до них достучаться? В чем состоит жизненная задача мыслителя?

Ницше вряд ли можно считать прожектером. В своей философии он пытался не только не отрываться от реальности, но брал в союзницы самое жизнь. И все же, бросив суровую правду жизни в лицо романтического века, Ницше до конца своих дней не терял надежды, что именно ему дано достучаться до сердец, именно он рожден для сообщения новых истин народу филистеров и ханжей...

Я изучу души моих современников и буду вправе сказать им: ни наука, ни религия не могут спасти вас, обратитесь к искусству, могучей силе будущего. «Философ будущего? – восклицает Ницше. – Он должен быть верховным судьей эстетической культуры, цензором всех заблуждений!»

Ницше жаждал овладеть общественным мнением, продемонстрировать возможности смелой, свободной, бесстрашной мысли, а встречал отчуждение, в лучшем случае, глухоту.

Неудача с «Рождением трагедии» не охладила Ницше, не снизила его творческого потенциала и полемического пафоса. В 1873-м он задумал серию эссе, объяснив замысел в письме к Роде:

Для меня крайне важно раз и навсегда извергнуть из себя весь полемически накопившийся во мне негативный материал; сначала я хочу живо пропеть всю гамму моих неприязней, вверх и вниз, причем таким устрашающим образом, чтобы «стены задрожали». Позднее, лет через пять, я брошу всякую полемику и примусь за «хорошую книгу». Но сейчас мне основательно заложило грудь от сплошного отвращения и подавленности. Будет это прилично или нет, но я должен прочистить горло, чтобы навсегда покончить с этим.

Настроения Ницше периода написания «Несвоевременных размышлений» в значительной степени связаны с европейскими событиями и намечающимся переломом в отношениях с Вагнером, с отчаянием Ницше «в связи с Байрёйтом». Надо вспомнить, что поначалу Ницше видел в байрёйтском предприятии Вагнера новый Элевсин, возрождение европейской культуры. Однако, побывав в Байрёйте, познакомившись с тамошней публикой, осознав безучастность к музыке той нации, от которой Ницше ждал появления совершенно новой культуры, стремление самого Вагнера творить «на потребу», Ницше пережил очередной кризис: «Я вернулся из Байрёйта, охваченный такой затяжной меланхолией, что единственным спасением от нее могла мне стать священная ярость».

Что вызвало меланхолию и ярость Ницше? В Байрёйте он имел возможность убедиться в том, что строительство театра, на который возлагалось столько надежд в связи с германским «возрождением», столкнулось с полным равнодушием к проекту самих «возрождаемых». На строительство театра не хватало средств, а все обращения о финансовой помощи наталкивались на глухое молчание. Вагнер обратился к Ницше с просьбой для поддержки своего предприятия составить «лист, написанный в наполеоновском стиле» – нечто в виде Призыва или Обращения к немецкому народу во имя «спасения чести германского духа». Ницше добросовестно выполнил эту просьбу, но его патетический документ не вызвал никакого понимания среди сторонников самого Вагнера. Хотя последний постарался сгладить тягостное впечатление от произошедшего, Ницше уехал оскорбленным и униженным. С этого отказа пошла трещина в отношениях, далеко не столь безоблачных, как это

представляется большинством биографов.

«Несвоевременные размышления» задумывались Ницше первоначально в виде двадцати вариаций (тем) единой культурологической проблемы. План этот временами сокращался до тринадцати и увеличивался до двадцати четырех эссе, но написано было лишь четыре очерка: «Давид Штраус, исповедник и писатель», «О пользе и вреде истории для жизни», «Шопенгауэр как воспитатель» и «Рихард Вагнер в Байрёйте». Первая публикация – 1873 год, последняя – 1876-й. Далее следует характеристика книги, данная много позже самим автором:

Четыре несвоевременных размышления являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был «Иваном-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой – может быть, также и то, что у меня очень ловкая рука. Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я тогда уже смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией... Второе «Несвоевременное размышление» (1874) освещает опасную сторону, подтачивающую и отравляющую жизнь, в нашем способе научной деятельности: жизнь больную от этого обесчеловеченного механизма, от безличности работника, от ложной экономии «разделения труда». Цель утрачивается, культура – средство, современная научная система, варваризирует... В этом исследовании в первый раз признается болезнью, типическим признаком упадка «исторический смысл», которым гордится этот век. – В третьем и четвертом «Несвоевременном размышлении», как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия «культура», выставлены два самых твердых образа эгоизма и дисциплины своего я, несвоевременные типы *par excellence*, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось «Империей», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», – Шопенгауэр и Вагнер или, одним словом, Ницше.

На фоне всеобщего подъема немецкого духа после победы над Францией, некогда названного Гёте историческим энтузиазмом, на фоне торжества «немецкой истории», под звуки литавр национального триумфа Ницше выразил сомнение в том, что победоносная война возвещает расцвет культуры. Творимая

гениальными одиночками культура никоим образом не связана с массовыми движениями. Национальный меркантилизм, научный рационализм и стремление государства руководить культурой ведут последнюю не к расцвету, но к упадку. Путь к истинной культуре, определяемой Ницше как «единство художественного стиля во всех проявлениях жизни народа», связан с возникновением подобных Шопенгауэру и Вагнеру гениев, сочетающих в себе философа, художника и святого.

Наука будущего должна стать художественной, энергичной, пылкой, а не книжной. Из нее придется изгнать серость и анонимность, а заодно и тех «господ профессоров», для которых она – кусок хлеба. Ницше подвергает уничтожительной критике книгу «Старая и новая вера», главным образом, за одностороннюю рассудочность воспитания юношества.

Если говорить о генеральной задаче книги, то это – действовать «против духа современности, и тем самым на современность» и, как надеялся автор, «в пользу грядущего времени».

В эссе «О пользе и вреде истории для жизни» мы обнаруживаем тему, развитую позже в философии жизни: торжества жизни над абстрактными построениями. Отвечая на вопрос: «Как подчинить знание жизни?» – автор полагает, что история постольку и нужна, поскольку служит жизни. Не рассудочность, а пластическая сила человека творят историю. Если сама история спонтанна, должен ли историк втискивать произошедшее в жесткие формы «науки»?

Здесь впервые виден намек на знаменитое учение Ницше о декадансе, играющее такую большую роль в его позднейших произведениях. И не без основания это первое указание на опасности декаданса напоминает описанную нами раньше картину его собственного душевного состояния. Уже здесь мы видим психологическую основу его теории: она заключается в тайной муке, которую испытывал этот страстный дух под напором осаждающих его идей и новых течений мысли, в силе, с которой все его мысли и все познания действовали на его внутренний мир, так что обилие внутренних борющихся между собой душевных явлений грозило сломать замкнутые границы его душевного мира. Он говорит сам в предисловии одной своей книги: «Также не следует забывать, что факты, возбуждающие во мне те мучительные ощущения, я черпал большей частью из своей внутренней жизни, и только для сравнения брал у других». То, что он находил в самом себе, превращалось в его глазах в



общую опасность для всей современной эпохи – и впоследствии даже возведено было им в смертельную опасность для всего человечества, взывающего к нему как к своему избавителю.

«Несвоевременные размышления», которые с первого взгляда можно еще рассматривать как панегирики учителям Ницше, в своей глубине содержали грядущий разрыв с ними. Уже в этой работе в полной мере проявился нонконформизм «несвоевременного мыслителя», который, чем дальше, тем больше, будет обострять его отношения с публикой и друзьями.

Публикация «Несвоевременных размышлений» вызвала противоречивые отзывы. Якоб Буркхардт считал, что книга «увеличила независимость в мире», в пользу автора высказались Ганс фон Бюлов, Бруно Бауэр, Карл Гильдебрандт. С другой стороны, в одной из немецких газет Ницше назвали «врагом Империи и агентом Интернационала». Больше всего Ницше обескуражила смерть Давида Штрауса, умершего через несколько недель после публикации первого памфлета: без каких-либо на то оснований Ницше укорял себя, что своим памфлетом доконал старика.

В «Несвоевременных размышлениях» уже просматривается будущий безоглядный Ницше, в одиночку выступающий против общественного мнения. Мог ли рассчитывать на успех идеалист, бросающий вызов не только тысячам профессоров, но нации в целом? Показательна реакция Трейчке на просьбу Овербека поддержать друга:

Ваш Базель – это какой-то «будуар», откуда позволяют себе оскорблять немецкую культуру.

Какое громадное несчастье для тебя [Овербека], что ты встретил этого Ницше, этого помешанного, навязывающего нам свои «несвоевременные размышления» в то время, как он сам пропитан до мозга костей самым ужасным из всех пороков – манией величия.

Следует признать, что даже ближайшие друзья Ницше – Овербек, Роде, Герсдорф, – пытавшиеся сгладить тягостное состояние подавленного неудачами Ницше, не осознавали ни мощи его таланта, ни степени его отчаяния. Овербек

грустно констатировал: «Чувство одиночества, переживаемое нашим дорогим другом, мучительно возрастает с каждым днем. Непрерывно подрубать ту ветку, на которой сам сидишь, опасно – рано или поздно это приведет к печальным результатам».

При всем трагизме отношений с матерью и сестрой, Ницше относился к самым близким людям со всей неизрасходованной нежностью трепетной души. Человеку, знавшему в жизни так мало тепла, хотелось находить его под крышей дома в Наумбурге. Его постоянно тянуло в родительский дом, где он мог вновь почувствовать себя ребенком даже тогда, когда в нежных и ласковых письмах к матери называл себя «твоим старым созданием».

Д. Алеви:

...Мать и сестра внушали ему [Ницше] сложное, не поддающееся анализу чувство. Он любил их, потому что это были его родные и потому что был нежен, верен и бесконечно чувствителен к воспоминаниям детства, но вместе с тем каждая его мысль, каждое его желание отдаляли его от них, и ум его презирал их.

Новый 1874 год Фридрих Ницше встречал в Наумбурге. Ему требовалось восстановить силы, оправиться от болезни. Он любил праздничный отдых в кругу близких и в юности привык под сочельник подводить итоги или составлять планы на будущее. Пока итоги были плачевны. Он вступал в год своего тридцатилетия отверженным, униженным, непризнанным. Последние годы жизни он посвятил служению своему старшему другу, но что им обоим дала эта дружба? Он все чаще задумывается над тем, что за человек этот Вагнер, что значит его искусство, не является ли оно великолепным, но больным цветком самого антихудожественного из времен?

Спросим себя по существу, в чем состоит ценность того времени, которое считает искусство Вагнера своим. Время это глубоко анархично, оно задыхается в погоне за благополучием, нечестиво, завистливо, бесформенно, беспочвенно. Оно легко впадает в отчаяние, лишено наивности, до мозга костей рассудочно, чуждо благородства, склонно к подлости и насилию. Искусство наскоро, кое-как

соединяет в себе всё, что способно привлечь взоры в наших современных немецких душах: человеческие характеры, всевозможные знания – все собирается в одну кучу. Поистине чудовищно пытаться утвердиться и завоевать чьи-либо симпатии в такое антихудожественное время. Это все равно, что давать яд против яда.

Ницше гнетет, с одной стороны, общественная глухота, окружающая его собственные творения, а с другой – все более восторженное отношение публики к Вагнеру, идущему ей «на потребу». Это не зависть отверженного к прославленному, это – горькое чувство несправедливости, которое довелось в большей или меньшей мере испытать всем гениям, далеко опередившим свое время, осознавшим свое лидерство и пережившим изгойство. Однажды, в минуту уныния и тоски, он изливает переполняющие его чувства другу-олимпийцу и какое же получает утешение? Вагнер называет его ипохондриком и советует обрести женское общество, лучше – жениться. Пантагрюэль дает советы Панургу...

Страдания, вызванные холодным приемом его произведений, усиливались лямкой, которую приходилось тянуть базельскому профессору. Чтение лекций становилось все более тягостным, преподавание он называл не иначе, как «проклятая университетская работа», мечтая об уединении в месте, где можно «дожить оставшуюся жизнь и писать хорошие книги».

Удары поджидают Ницше и там, где он их совсем не ожидает. Он всегда высоко ценил дружбу, верил друзьям, но вся его жизнь была чередой предательств. Именно так он воспринял известие о пострижении Ромундта, долго скрывавшего от друзей свою глубокую религиозность. Подобным образом Ницше встретил известие о намерении Вагнера написать христианскую мистерию – «Парсифаля». Внутри самого Ницше уже шла огромная духовная работа по «переоценке ценностей», а его близкие друзья по-прежнему отдавали предпочтение Лютеру и святому Граалю. Больше всего Ницше сокрушало отступничество именно тех людей, на которых он возлагал надежды как на единомышленников, с которыми делился опасными идеями. Может быть, именно собственной суровой безоглядностью он спровоцировал их? Может быть, именно на нем лежит ответственность за постыдное пострижение Ромундта в монахи?

Ницше хотел вернуть к жизни, переубедить своего друга, но споры оказались бесполезными. Ромундт твердо стоял на своем. В назначенный срок он уехал. Вот как Ницше описал Герсдорфу его отъезд:

«Было невыносимо тяжело... В самый последний момент меня охватил настоящий ужас... я слег в постель и тридцать часов подряд мучился сильнейшей головной болью и приступами тошноты».

Потрясение действительно оказалось сильным, послужив началом длительного кризиса. Ницше был вынужден вновь уехать из Базеля в горы. «Пришли мне слова утешения, – писал он в эти дни Э. Роде, – может быть, твоя дружба поможет мне пережить постигший меня удар». Не правда ли, так пишут, когда лишаются любимого человека?..

Сестра Ницше, проведшая весь март в Байрёйте у Вагнера, ужаснулась при виде своего брата. Казалось, что тень Ромундта преследовала его повсюду. «Жить все время под одной крышей, быть такими друзьями и прийти к такой развязке! Это ужасно!» – повторял он непрестанно.

У Ницше были и другие поводы для переживаний. Шел июль 1875 года, приближалось время, назначенное для репетиции тетралогии Вагнера, все друзья были всецело поглощены приготовлениями к байрёйтским торжествам, а Ницше именно в это время уже носил в себе бомбу – готовящийся втайне выпад против учителя. В эти дни он писал, что для него наступило время молчания, но молчать он тоже не мог, еще сильнее раскачивая ладью собственного «я» на волнах беспокойного океана бушующего духа.

Я много поносил моих современников, а между тем я сам принадлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть мучителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу. Я критиковал науку и восхвалял вдохновение, но я не анализировал, не исследовал источников этого вдохновения – над какую же пропасть я ходил! Меня извиняет моя молодость; я нуждался в опьянении;

теперь молодость моя прошла. Роде, Герсдорф, Овербек в Байрёйте; я им завидую и вместе с тем жалею их, так как они уже вышли из того возраста, когда витают в мечтах, и не должны были бы находиться там. Чем именно я теперь займусь? Я буду изучать естественные науки, математику, физику, химию, историю и политическую экономию. Я соберу громадный материал для изучения человека, буду читать старинные исторические книги, романы, воспоминания и эпистолярные... Работа предстоит трудная, но я буду не один, со мною постоянно будут Платон, Аристотель, Гёте, Шопенгауэр; благодаря моим любимым гениям я не почувствую ни тяжести труда, ни остроты одиночества.

Постановка тетралогии Вагнера была назначена на лето 1876 года. Дурные предчувствия мучили Ницше уже с начала этого года: «Я совершенно измучился от тоскливого неумолимого предчувствия, что после моего разочарования [Вагнером] мое недоверие к себе возрастет еще сильнее, чем раньше, что я еще глубже буду презирать себя, что я буду обречен на еще более жестокое одиночество». Ницше давно осознал, что его здоровье тесно связано с настроением, настроение же неумолимо портилось от давно носимой в душе обиды на Вагнера за высокомерие, нежелание признать его равным, предоставить право иметь собственный голос.

Ницше слег в конце 1875-го и проболел до марта, так до конца и не оправившись.

Ницше – Герсдорфу:

Я пишу с трудом и потому буду краток. Я никогда еще не переживал такого грустного, такого тяжелого Рождества, никогда не переживал такого страшного предчувствия. Я теперь более не сомневаюсь, что болезнь моя имеет чисто мозговое происхождение; глаза и желудок страдают от другой, посторонней причины. Мой отец умер тридцати шести лет от воспаления мозга. Весьма возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее. Я терпелив, но будущее мое полно всяких неожиданностей.

Д. Алеви:

С приближением весны Ницше пожелал уехать из Базеля. Герсдорф предложил составить компанию, и друзья поселились вместе на берегу Женевского озера в Шильоне. Ницше прожил там пятнадцать дней, и все это время дурное настроение его не покидало. Нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе. В особенности же он страдал от f?hne, мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять альпийские снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом; нервы его не выдержали, и он признался Герсдорфу в своей душераздирающей тоске и сомнениях. Герсдорф должен был возвращаться в Германию, ему пришлось покинуть друга в большой тревоге за его здоровье.

Впрочем, Ницше еще не утратил реабилитационной способности. Оставшись в одиночестве, он прочитал двухтомник Мальвиды фон Мейзенбург «Воспоминания идеалистки». Он был глубоко привязан к этой пожилой женщине, как к собственной матери, с которой делился многими сокровенными мыслями. У нее было большое сердце, и для Ницше она стала воплощением идеального женского типа.

Чтение «Воспоминаний идеалистки» как бы воскрешает Ницше; мадам Мейзенбург примиряет его с жизнью; к нему возвращается спокойствие духа и даже физическое здоровье.

В 1876 году Ницше пишет последнее из «Несвоевременных размышлений» – «Вагнер в Байрёйте». Самое поразительное в этом полном энтузиазма панегирике то, что он создается в момент, когда полностью развеяны все иллюзии Ницше в отношении старшего друга. Проницательный читатель чуть ли не на каждой странице этого эссе обнаружит скрытое неодобрение, преподанное в форме гимна. Ницше воздает хвалу художнику, не упоминая о нем как о философе. Нет ни слова о воспитательном значении его произведений. Сам дух панегирика радикально отличается от мыслей, высказанных в «Рождении трагедии» и все еще разделяемых Ницше, что придает работе скрыто иронический характер:

Для нас Байрёйт – это освящение храма во время битвы. Таинственный голос трагедии звучит для нас не как расслабляющее и обессиливающее нас очарование, она налагает на нас печать покоя (?). Высшая красота открывается нам не в самый момент битвы, но мы сливаемся с нею в момент спокойствия (?), предшествующий битве и прерывающий ее; в эти мимолетные мгновения, когда, оживляя в своей памяти прошлое, мы как бы заглядываем в тайну будущего, мы проникаемся глубиной всех символов, и ощущение какой-то легкой усталости, освежающие и ободряющие грезы нисходят на нас. Завтра нас ждет борьба, священные тени исчезают, и мы снова бесконечно отдаляемся от искусства; но, как осадок утренней росы, в душе человека остается утешительное сознание о пережитом истинном слиянии с искусством.

В книге есть и более открытое выражение изменившегося чувства: «Вагнер – не пророк будущего, как это можно было бы думать, но истолкователь и певец прошлого». Ясно, что Ницше уже не мог скрыть тех глубинных процессов внутреннего прозрения, которые происходили в нем все последние годы, но еще был не в силах громогласно заявить о разрыве, о расхождении путей. Но Вагнер не умел читать между строк и по-прежнему видел в Ницше только оруженосца. Его реакция на работу ускользающего из-под гипнотического влияния друга выражена в кратком письме:

Друг мой, какую чудесную книгу Вы написали. Когда Вы успели так хорошо узнать меня? [Надо полагать, глубоко трагический подтекст этого вопроса не осознавался автором письма.] Приезжайте скорее и оставайтесь с нами все время, начиная от репетиций до начала представлений.

Ваш Р. В. 12 июля.

Согласно признанию самого Ницше, в момент написания «Вагнера в Байрёйте» он уже полностью разуверился в его искусстве и идеях (для проницательного читателя это ясно и без комментария). Зачем же, вопрошает Л. Шестов, Ницше потребовалось писать «гимн» уже свергнутому кумиру? Ницше объяснил это тем, что, прощаясь со своим учителем, он хотел выразить ему признательность за все прошлое.

Внешне панегирический характер «Вагнера в Байрёйте» Лев Шестов объяснил тем, что Ницше все еще продолжал ощущать на себе гипнотический взгляд

учителя и не находил в себе сил бороться с его влиянием:

Ницше был гордым человеком. Он не хотел выставлять напоказ свои раны, он хотел скрыть их от посторонних взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться и лгать, для этого пришлось писать горячие хвалебные статьи в честь Шопенгауэра и Вагнера, которых в душе он уже почти ненавидел, ибо считал их главными виновниками своего страшного несчастья.

Несчастьем этим была несвобода, зависимость, лишение самостоятельности. Резкость поворота Ницше в отношении к своим учителям, собственно, объясняется длительным накоплением потенциала отречения и последовавшим разрядом.

Не покорности, как того требовала философия Шопенгауэра, но переоценки жаждала душа гиперборейца! Ницше нашел в себе силы отречься и от романтических увлечений молодости, и от пессимизма, и от последствий собственного оранжерейного воспитания, и от авторитетов, и от своей филистерски-профессорской среды. Эволюция Ницше была процессом такого рода отречений, все большим отходом от традиционного мышления к нонконформизму.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания



Безответственный или корыстный профетизм характерен для вождей масс, таких как Ленин, Муссолини, Мао или Гитлер.

2

Я писал сам для себя! (Латин.)

3

Стихи Ф. Ницше представлены в переводах К. Свасьяна, Я. Голосовкера, В. Рынкевича, Ю. Антоновского, В. Зоргенфрея, В. Топоровой, С. Степановой и др.

4

Площадь в греческих полисах для демократических собраний «свободнорожденных».

5

Прокладка Сен-Готардского туннеля в Лепонтинских Альпах началась в 1872-м и завершилась в 1880 году.

6

Задуманная Ницше книга «О философах трагической Греции», как почти все его творения, осталась незавершенной; написано было лишь несколько глав.

----

Купить: [https://tellnovel.com/garin\\_igor/nicshe](https://tellnovel.com/garin_igor/nicshe)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)